

Н А Р О Д Н Ы Й Ж У Р Н А Л

РОМАН №6 ГАЗЕТА

Лидия Сычёва / **Сёстры**



Лидия Сычева
Сёстры. Сборник

«Издательские решения»

Сычева Л.

Сёстры. Сборник / Л. Сычева — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-905852-2

Во многих рассказах Лидии Сычевой в центре повествования — женщины. С бедами и заботами, которых достаточно в повседневном быте, будь то село или город. Любовь — тот самый «ключик», с помощью которого автор открывает мир своих героинь. Проза Лидии Сычёвой обладает притягательной силой, её особенность — в языке, в речи персонажей, в авторской оценке. Эти рассказы вбирают в себя характерные черты времени, по которым можно увидеть картину целого, понять, как и чем живут люди в современной России.

ISBN 978-5-44-905852-2

© Сычева Л.

© Издательские решения

Содержание

Иней	6
Сестры	13
I	13
II	15
III	16
IV	17
V	18
Анже, Анже...	19
Про Мишу, Гришу и Тишу	24
Свиток	27
На Канарах	32
I	32
II	34
III	36
IV	38
Летним днем	39
I	39
II	41
III	43
Дерево	44
Параня-богатырша	47
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Сёстры Сборник

Лидия Сычева

Дизайнер обложки Валентин Михайлович Сидоров

Редактор Елена Васильевна Русакова

© Лидия Сычева, 2019

© Валентин Михайлович Сидоров, дизайн обложки, 2019

ISBN 978-5-4490-5852-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Переиздание сборника рассказов Лидии Сычёвой, вышедшего в «Роман-газете» в 2013 году. На обложке картина Народного художника СССР Валентина Сидорова.

Иней

Автобус – «ледяной дом» – катится по густым сумеркам, – зимним, московским. Тесно от шуб и дубленок, холодно и постыло – медленно едем, от двери дует. Пугаю себя, готовлю к худшему – вдруг Митя заболел? Утром вставал трудно, капризничал, колготки надел наизнанку; я проспала, спешила, так и потащила в детсад; где бегом, где уговором, за руку, за воротник черного цигейкового тулупчика.

– Митя, – зову я в пустоту игровой и спальни, – Митя!

Недовольная воспитательница, вчерашняя школьница с когтистым фиолетовым маникюром и жирно покрашенными губами, волокет моего взъерошенного сына из умывалки, когти ввязнут в клетчатой рубашке:

– До шести работаем, сколько раз говорить! Опять на тихом часе не спал. Аню Буданову толкнул. В краски влез.

Я бормочу извинения, трогаю Митин лоб – слава Богу, пронесло. Болеть нам никак нельзя. Два больничных за полгода – и, прощай, работа!

Дома я энергично поворачиваюсь на кухне – кипит бульон, жир скворчит и компот варится. Сынок посидел чуть у телевизора, и тут как тут, тащит «КамАЗ» за веревочку и резинового крокодила за хвост: «Мам, давай поиграем...»

– Давай, – вздыхаю я; и сыплю соль, больше положенного сыплю.

За ужином Митя жалуется на Светлану Петровну – злюка, дерется.

– А ты не балуйся, – наставляю я.

– Все равно дерется, – упорствует сын и, вспомнив дневные обиды, начинает плакать.

– Ну-ну, не нюнься, – жалею я Митю, – мужик ты или кто? Мужик, мужик! – и ворошу сынишкины кудри. Красив у меня Митька, и в детском саду держится. Ничего! День прожили.

На ночь я читаю сыну книжки. «Дядя Степа» проштудирован нами вдоль и поперек, и сегодня Митя тащит из шкафа корешок покрасивей.

– Это взрослая, – предупреждаю я.

Митя упрямится, толкает в бок: «Читай!»

Будильник не забыть завести. Завтра обязательно надо заплатить за свет – последний день. «Наружность князя соответствовала его нраву. Отличительными чертами более приятного, чем красивого лица его были просторечие и откровенность. В его темно-серых глазах, осененных черными ресницами, наблюдатель прочел бы необыкновенную, бессознательную и как бы невольную решительность, не позволяющую ему ни на миг задуматься в минуту действия... Мягко и определенно изогнутый рот выражал честную, ничем не поколебленную твердость, а улыбка беспритязательное, почти детское добродушие...»

– Мама, – тянет за рукав сын, – а кто такой князь?

– Ну, – затрудняюсь я, – в данном случае красивый, сильный, знатный человек, защитник родины.

– А мой папа – князь?

– В некотором роде, пожалуй, да.

– И на лошади он умеет ездить?

– О, – оживляюсь я, – всадник каких поискать.

– Меня научит, да, мам?

– Обязательно.

– А когда он приедет?

– Вот подрастешь, станешь умным, сильным, вернется папа и обрадуется. Гордиться тобой будет. А сейчас спи, засыпай, я тебе песенку про котика спою. Завтра пятница, а потом суббота, и все у нас хорошо...

На работе сегодня застой, в отсутствие начальства персонал расслабился, оторвался от бумажек. Мое кропотливое дело – технические переводы – скука смертная. Артикли, схемы, строчки, деньги. Фирма экономит площадь, и нас разгородили пластиковыми ширмами, компьютерный чад поднимается к высокому «сталинскому» потолку, разгоняется вентилятором и оседает на головы «белым воротничкам». Мой закуток у окна, видно зимнее небо в проводах, и дерево карачиком от долголетней культурной обработки, и церквушку в старых заснеженных лесах. Алехиной повезло меньше – ее стол с трех сторон обгорожен полами «стенами», и в свободную минутку она вырывается ко мне поболтать.

– Явление самой стильной женщины учреждения и окрестностей, – бодро приветствую я Алехину.

– Перестань, – досадливо машет она, – я даже не накрашена, ты что, не видишь?

– Не заметила... Как же случилось такое несчастье?

– Ань, – Алехина снимает очки, глаза красные, – мы с Вовиком расстались.

– Свежая новость, – хмыкаю я. На моей памяти расставания с Вовиком происходили уж раз пять. С предметом слез, страстей и наших разговоров я едва знакома. Вовик – детина громадного роста, каких поискать. Со слов Алехиной я знаю, что он водитель, разведенек и выпить не дурак. Добрый человек – в минуты особого душевного расположения он может принести тапочки прямо к постели.

– Нет, все серьезно. Вчера приехала с работы пораньше, до его прихода, стала гречку варить, печенку купила, решила поджарить. Нашла две рубашки грязные, замочила. Он пришел не в настроении, но трезвый.

– Может, потому и не в настроении? – ехидно вставляю я.

– Может и так, – горько соглашается Алехина. – Говорю ему: давай вместе поужинаем. А он стакан налил, тарелку взял и в комнату – телевизор смотреть. Врубает на всю. У меня так голова болела – магнитные бури, что ли? Я ему с кухни кричу: «Вовик, сделай потише». Ноль эмоций. Подхожу к нему, только рот раскрыла, а он как погнал матом! «Чтобы я, в своем доме, и делать что хочу не могу...»

– Ну и? – сочувствую я.

– Собрала свои вещи в два пакета, поймала частного и к матери.

– А он?

– Да что он! Я, по правде, и не слушала, все думала как не расплакаться.

У нас общая минута молчания по Веркиному горю. Потом Алехина качает головой, горестно моргает и ответственно спрашивает:

– Ань, ну что мне было делать?! Скажи? Ну вот скажи, тебя хоть раз посылали матом?

Я вспоминаю закаты глаза, жуя губами, и, наконец, честно признаюсь:

– Неоднократно!

Алехина безумно смотрит на меня, и через секунду мы хохочем так, что к нам начинают заглядывать из других закутков.

Вечер, и у нас с Митькой настоящий дом – пахнет пирогами, свежее белье на постелях и, если убрать верхний свет, видно, как за окном летят большие, сказочные хлопья снега, похожие на растрепанных птиц.

Митя спит в обнимку с «Князем Серебряным» и зеленым крокодилом, тихонько, чтобы не разбудить, я вызволяю вещи. Настроение вечернее – немного грустное и тревожное. Я долго стою под душем, потом рассматриваю себя в зеркало: «Сбросила лягушачью шкуру, обернулась Василисой Прекрасной», – прямо как в Митиных сказках. Глаза светятся, румянец молодой. Второй раз в жизни я кажусь себе очень красивой – ровная смуглая кожа, спокойная грудь, капли резво катятся вниз, тают на бедрах. Все живое, не то, что эти синтетические девушки

с обложек. У меня нет мужчины, и, честно говоря, не хочется. Хотя Алехина говорит, что нужно для здоровья. Но – не хочется...

Ночь – большой черный короб, и в нем есть коробок поменьше – моя семнадцатизэтажка, а в квартире на четвертом этаже за дверью ванной рубчатый коврик впивается в мои голые пятки. Как странно, что я чувствую себя совсем свободной в этих каменных одежках, я, такая голая, незащищенная и невечная. Не то, чтобы я пережила свою беду, но просто не даю ей множиться. И чудится мне, что в такие спокойные одинокие ночи продолжается моя настоящая жизнь. Время, когда я робко вспоминаю прошлое. Смешно, но мне не хватает сил даже вслух, себе самой, сказать о нашей любви, а чтобы обсуждать ее, допустим, с Алехиной... Верку не упрекаю. Но почему я сразу поняла – мои чувства – непреодолимые, непредставимые. И я больше мучаюсь не нынешним формальным женским одиночеством, а немотой, невозможностью вслух доказательно произнести слово «чудо».

Вот я перебираю в памяти каждый день, каждый шаг – как рассказать?! День был... ну, не то чтобы печальный, напротив, но какой-то уж очень запоминающийся! Как старый валун у распутия. И осень была настоящая. В городском парке я вдруг поразились тому, как падают листья. Золотые челны с ивы плыли и плыли. Потрясающая щедрость дерева – лист, еще здоровый, гибкий, самый красивый за всю свою недолгую жизнь, ясно цвел на осенней земле. А дуб – такая кряга и сила – сорил золотыми как подгулявший купец. Только звон по округе летел! А тут еще рябина мокла, отражаясь в крохотном пруду – яркая, крупная; пруд искрился от последних паутин и шаров перекасти-поле. Поодаль мужики распивали на троих на скамейке, интеллигенты с коньяком. Школьники шумели, катились ватагой по дорожке, лупили друг друга портфелями. Обыкновенная жизнь шла. «Я тебя сразу узнал», – сказали твои глаза. «И я!» – радовались мои. А осень так вызолотила аллеи, что даже тень вековых стволов скрывал листопад. И первый раз, после многих лет, зим, весен, глупости и разочарований, я знала и счастливилась: если скажут мне – умри как лист, умри сейчас, живой, золотой, нетронутый морозом и рябью, я бы плыла проще легкой лодочки с ивы – к земле. Не страшась ни забвения, ни чужих тупоносых ботинок, ни дворничих костров – вот жизнь!

И все случайные черты были стерты, мир раскрыл потайные ларцы, мы и жили, почти не печалась, не разбирая земные грехи. Пришла зима – взбила перины, расстелила покрывало, развесила гирлянды и серебряные шары. Весь север и восток – наш, на тысячи верст простор, снег; леса в шубах, елки в кокошниках, даже волки не злые, а мужественные. Мы купили два билета на электричку. «Увидишь!» Я только согласно головой качала. Вышли на платформу – такая стынь и радость! Минус тридцать, слезы из глаз, и иней, иней, иней! На станционной будке, частых соснах, проводах, усах прохожего – клянусь, что никогда я не видела столько сверкания и богатства сразу. Даже вороны в бриллиантах. Ну кто в такое поверит?!

И нужно очень быстро бежать – иначе пропадешь, замерзнешь, – навстречу солнцу, теплоте дому, по снежной дороге на холм, туда, где новым золотом, в крапинах мороза, греется белый храм; и дальше, с горы – красные, жаркие, мы летим по заледенелой улице. Я оглядываюсь и удивляюсь в дверях, смахивая морозные чистые слезы: иней!

В ковшик с водой засмотрелась – красавица! И кому какое дело как мы любим друг друга; и теперь уже не важно сколько раз посылали меня матом мужчины от собственной несчастья – женщиной ведь от этого я не стала и красавицей тоже.

Две зимы в году не бывает. Слишком счастливы! Была бы любовь, разлука найдется. Нам весело – перед расставанием навсегда – что же остается?! Могу и сплясать: летит цветастая шаль, а по шали жар-птица, жарко припеваю:

У миленка моего
Волосы волнистые,
Я его не заменю

На горы золотистые!

И Митька родился с такими же кудрями, и радость от того, что сын появился на свет точь-в-точь похожим на отца, меня так потрясла, что я разрыдалась на всю родовую. Акушерка была совсем не грубой, гладила меня по голове: «Голубушка, голубушка! – а сама младше года на два, – счастье какое, мальчик, здоровый, крепкий. Что ты?» А что я? Иней растаял. И нет тут нашей вины...

Утром я нашарила в почтовом ящике письмо. Сначала удивилась незнакомому почерку, потом похолодела – писал отец. Я рвала конверт, прыгали строчки. Значит, маме сделали операцию. «Не хотели волновать...»

Я несправедливо ору на Митю: «быстрее собирайся!», звоню Алехиной, чтобы объяснилась на работе, что-то лихорадочно сую в сумку; и все время помню, что мне нельзя быть в отчаянии: дорога долгая.

Лишь однажды я не послушала маму: «Какая стыдоба! Догулялась!» Что же, можно и так сказать. Я угрюмо сверкала подбитым глазом – мы развелись с мужем. Мне не хотелось его больше обманывать, а он еще не знал, что я будущая мать. Правда, чужого ребенка...

Отчего болеют наши родители? Ясно, что не от старости. Мы с Митькой в аэропорту, час десять лету до области. Потом можно поездом, но автобусом быстрее, хотя дороже и с пересадкой. День катится – с комком в горле, с потерей аппетита, с раздражением в голосе и дрожью в руках. К счастью, Мите все время что-то нужно: то в туалет, то конфету, то спать, то скучно.

...Мы мерзли на трассе в Щиграх, в ста метрах от автостанции. Оставались последние семьдесят километров до мамы. Вдруг я с ужасом поняла, что никуда мы сегодня не уедем. Шесть часов вечера, сумерки, суббота, чужой райцентр. Пяти минут нам не хватило, чтобы успеть на последний рейсовый автобус. Пусто на дороге. В кособоком домике автостанции гаснут окна. «Мама, когда мы к бабушке поедим?» – теревит за рукав, заглядывает в глаза Митя. Я рассуждаю вслух о том, что в городе обязательно должна быть гостиница. Припозднившаяся легковушка, единственная за последний час, качает фарами по гололеду. Я лезу под колеса. Мы долго трясемся по кривой, плохо освещенной улице, водитель угадывает выбоины и странно нам сочувствует. Он высаживает нас у подъезда вросшей в неубранный снег приземистой гостиницы.

Но в кои веки в Щигры приехал выступать областной хор! Мест нет. В вестибюле на стульях и узлах дремлют торговки с базара, мужики в нахлобученных шапках. Кто-то сидит прямо на кафеле, подстелив газету. Две женщины с только что реставрированной косметикой на лице – дежурная и администратор – щебечут за стойкой на широком диване. «С ребенком на одну ночь», – неожиданно хрипло говорю я, непроизвольно глядя на диван. «Гостиница переполнена. Вы же видите», – и дальше – о личной жизни Пугачевой и Киркорова, им не до меня. Я стучусь в ближайший номер, и, стыдась, прошу стул для Мити. Наверно, не умею просить. Снова возвращаюсь к стойке. «Пожалуйста, посадите мальчика на диван, он очень устал», – Митя тоже просит, молча. Красивые женщины, местные львицы, брезгливо морщатся: «Нельзя». Я тащу Митю из вестибюля на улицу, боясь расплакаться при них. «Стервы», – шепчу я и рыдаю в темноте, уткнувшись в Митин тулупчик. «Мамочка, миленькая, не плачь, – пугается сын, – я еще не хочу спать. Не плачь, пожалуйста! Мы будем ходить и не замерзнем», – он успокаивает меня по-взрослому, мой маленький сын, вытирая варежкой слезы.

Нам некуда идти. Можно побить окна в гостинице и тогда нас заберут в милицию. Или в вытрезвитель. Но, наверное, у меня не хватит денег на штраф, и вообще, я никогда ничего не била, кроме чайных чашек.

Мы медленно бредем мимо глухих заборов и синих от телевизоров окон. Кажется, где-то в начале улицы мы проезжали телеграф – он должен работать круглосуточно. Я перекладываю сумку в другую руку.

Нет на небе звезд, осторожный мороз крадется по пятам. Тихо и равнодушно, будто никому в целом свете мы не нужны. Какое одиночество разлито в этой серой, чужой зиме! Как некрасивы грязные, смерзшиеся, ледяные от нечистот дорожки, сизые колеи, уродливые, кривые кустарники у низких калиток! И я на мгновение зову неведомое, чудесное спасение, и тут же устыжаюсь своей глупой мечты. «Ничего не бояться!» – разве не это твердили мы друг другу на заиндевевшей станции ярославской железной дороги? Сколько инея, свежести, красоты и победительности было в моей жизни, и вдруг я расхлюпилась в каких-то Щиграх! Будто не сама виновата. Разве две холеные тетки на казенном диване всегда и со всеми такие равнодушные?! Нам встречаются те люди, которых мы заслужили. Или намного лучше – потому что мой любимый – отважнее князя, красивее инея, сильнее смерти. И вспоминая это, я совсем ничего не боюсь, а в небе месяц-плуг режет низкие тучи и сверкают в бороздах золотые зерна звезд.

Засмотревшись, я спотыкаюсь, и в тоже мгновение чувствую, как кто-то подхватывает мою сумку. Не успев испугаться, я вижу рядом высокого, без шапки, слегка сутулого мужчину, а поодаль еще двоих – крепыша в светлом плаще и коротышку в спортивном облиии. От компании веет неблагополучием и странностью: одежда явна случайная, без женского глаза, да и будут ли нормальные мужики шляться по улице в такое время!

– Помогу нести, – отрывисто и властно говорит высокий, забирая сумку. Мы с Митей пытаемся пристроиться к его широкому шагу.

– Мальчишку возьми, – бросает высокий крепышу. Митя охотно лезет на руки.

– Куда? – это мне.

– На телеграф.

Мы движемся молча и быстро. Только коротышка в спортивных штанах с широкими красными лампасами курит, кашляет и что-то глухо мычит.

– Пришли. Спасибо, – благодарю я у неоновой вывески. Но вся компания вваливается вместе со мной. Я усаживаю Митю на скамейку, устраиваюсь сама. Наши неожиданные помощники шушукаются у пустой переговорной стойки. Очень хочется спать.

– Заказывать будете? – высокий стоит рядом и внимательно смотрит на меня. На вид ему лет сорок, неглубокие морщины, короткие волосы, его можно было бы назвать симпатичным, если бы не цвет кожи – бледновато-желтый, нездоровый, будто он всю свою жизнь просидел в погребке. Я опускаю глаза и не могу оторвать взгляд от его рук, густо изукрашенных причудливыми татуировками.

– Мне некуда звонить, – говорю я. И спокойно рассказываю про весь день с утра. Усталость растекается по телу, и я слышу свой голос отдельно, и удивляюсь его непохожести.

– Понятно, – хмурится высокий. – Послушай, как тебя там?

– Аня, – шевелю я губами.

– Аня, ты можешь переночевать у меня. Там спокойно. Живу один. Чисто. Здесь недалеко. Я уйду к знакомой.

– Не надо.

– Брось, – криво улыбается он. – Не из-за тебя, не думай. Парнишку пожалей. Он-то чем виноват?

Куртка у высокого расстегнута, и верхняя пуговица у рубашки тоже, из-под ворота на шею ползет синяя татуированная змея. Мы встречаемся глазами, и вдруг я понимаю, что для него очень важно, чтобы я ему поверила и согласилась.

Мы идем минут десять. На первом этаже длинного, барачного здания крохотная комнатка метров в восемь. Телевизор, холодильник, две узкие кровати. В кухоньке топится печка,

высокий двигает заслонку. Обеденный стол, два стула. На стене висит сковородка рядом с обнаженной календарной красоткой. «Парашу им поста...», – начинает было коротышка, но отсекается, уловив бешеный взгляд высокого. «Хлеб в столе. Масло и колбаса в холодильнике. Есть молоко. Ешьте, пейте. Грязное ведро у дверей. Приду в шесть – первый автобус в семь. Закрывайся на два оборота. Ключ из двери не вынимай. Никому не открывай, пока не назовут тебе по имени. Ясно?»

Митя засыпает сразу – намучился. В тюлевой занавесочке путается месяц. Окно совсем рядом. Я даю себе честное слово не спать. Во-первых, мне страшно, во-вторых, я боюсь угореть от печки. «Не спать!» – приказываю я себе и через секунду просыпаюсь от осторожного стука: «Аня, открой. Утро.»

На автостанции вокруг нас вакуум – похоже, местным хорошо известно «дурное общество», в которое попали мы с Митей. Высокий, он же Слава, он же вор-рецидивист по кличке Князь, два месяца назад вернулся из заключения: «Общий стаж – девятнадцать лет. Все, завязываю. Машину куплю, женюсь!» Я немного опасаюсь за содержимое моей сумки, которую несет Владимир Иванович Булавко, коротышка пенсионного возраста, старый вор-карманник. «Будь спокоен», – бормочет Булавко, читая тревогу в моих глазах. Поодаль, засунув руки в карманы мягкого плаща, топчется крепыш – Комиссар.

– Почему Комиссар никогда не разговаривает? – осторожно спрашиваю я Владимира Ивановича. – Он... немой?

– Ха – ха – ха – ха! – хрипло заливается Булавко. – Ему Князь запретил рот открывать при вас. Он слова без мата не может сказать.

– Чего так? – удивляюсь я.

– А лежи семь раз в ЛТП, узнаешь, – гордится Булавко.

Слава купил билеты и пряники на дорогу. Мы расстаемся лучшими друзьями. Комиссар украдкой утирается. Владимир Иванович, вспомнив происхождение (говорит, что из дворян), галантно целует мне руку.

– Может, телефончик оставишь? – вздыхает он. – В гости когда зашли бы...

– Заткнись, – шипит Слава. – Ну, давай, – мы уже в дверях, – не забывай, ладно?

Конечно, не забуду! Митя машет «дядям» в окно...

«Мама, – шепчу я, – мама!» – и осторожно глажу ее большую, непривычно белую, стерильную руку.

Дома тепло, натоплено, оттаяли окошки, видно гибкую рябину в инее. Я прибралась, настряпала вкусного, Митя тащит санки по двору, усадив на них терпеливого рябого кота, отец гремит ведрами у сарая. Дома особенно уютно – беду отогнали и уже меньше пахнет лекарствами, и лицо у мамы светлее, она открывает глаза, ясно смотрит.

– Бульон надо принять, – руковожу я, – режим!

Мама осторожно приподнимается, я обкладываю ее подушками. Эх, хороша была курица Чернушка! Душистый бульон, прозрачно-золотистый, целебный.

– А в войну, бывало, – вспоминает мама, – прибежим к тетке Арине – голодно! Нас четверо. Дядя Егор ругается: «От черти голодные!» Тетке Арине нас жалко – родные племянники. Она его забалакивать, задабривать. «Егор, а Егор! Возьму я проса, пойду воробьев ловить!» Он только рукой махнет. А своих детей у них не было... А тетка Арина с валенком в курник, проса насыплет, воробьи слетятся, она их ловко – маленькая была, худенькая – валенком накрывать да скорей тряпкой затыкает. Потом сидим, оббираем этих воробьев, накладем полный чугунок – как картошки. И быстро они варятся на загнетке, и мы ели их, аж кости хрумтели. Соли, конечно, не было. Домой прибегаем вечером, мама зовет: «Ну, сидайте вечерять. Борщ есть». А мы кажем – мяса наелись. Воробьиного.

И мы улыбаемся воспоминаниям, далеким временам.

– Как ты живешь, Аня? – вдруг спрашивает мама, и в голосе ее столько сочувствия, жалости, будто не она болеет, а я.

– Ничего живу, – улыбаюсь я. – Нет, правда, ничего. – И спешу ее убедить:

– У меня сын, о котором я мечтала; жить есть где, нормально зарабатываю, все хорошо, – я вижу, как увлажняются мамины глаза, – ну, что ты, в самом деле, не война же, – отшучиваюсь.

Белая ночь, зимняя, в круглых нетронутых барханах, и соседский сараюшка горбится верблюдом, и тихо цветет рябина чудо-деревом, поднимая живыми ветками морозный снег и налитанный золотом, располневший месяц.

Я поднимаю голову – и, Боже, какая звездность и какая лучистость! Кажется мне, что и звезды в инее, и, удивительно, как же я этого не понимала, не видела прежде! Они кружатся, дрожат, складываются в картину; и видится мне, будто по белому пути скачет звездный князь, серебристый, молодой, веселый вечный воин. Летит по небу, отпустив поводья; бьет норовистый конь копытом по Млечному пути, высекает серебряные искры... Он один в небе – среди звезд!

Но как мне одиноко здесь, на белой безмолвной земле, где знает меня каждое дерево, каждый куст, каждая бездомная ворона! Наверное, все лучшее в моей жизни уже было. И я все смотрю и смотрю в морозную вышину, втайне чуть-чуть надеясь на чудо, и все же в эти минуты мне не жаль не только моей прошлой жизни, но и будущей...

Сестры

I

Кухня, простор, летний свет в не по-крестьянски широких окнах; в трехлитровых банках на столе матово светятся залитые сиропом яблоки – белый налив; на полу стоят закатанные вчера соленья – огурцы с прозрачным рассолом, чуть тронутые желтизной; нарезанные дольками кабачки; сборные закуски – лук, морковь, перец. Редкие мухи пугаются кухонного чада – форточка открыта настежь, но на газу пыhtят две алюминиевые десятилитровые кастрюли. Сестры, обе в цветастых цыганистых сарафанах, заняты делом. Старшая, Лариса, время от времени помешивает длинным черпачком варево. Она босая, и с видимым удовольствием дает отдых ногам на широких досках добела выскобленного пола. Младшая, Вера, сидит в углу, на низкой табуретке и пытается сосредоточиться на сортировке яблок – в один таз червивые, в другой – целые. От этого простого дела ее отвлекает высокое вишневое дерево с последними, почти черными вишнями, что видны в окне, сладкий пар кипящего сиропа, отборные огурцы, переложенные грубыми ветками укропа, полные загорелые плечи сестры («какая она красивая!» – в очередной раз думает Вера); и весь склад деревенской жизни, который она почти позабыла.

– Лариса, – зовет она, чтобы высказать почувствованное, но не успевает – в дверном проеме появляется Ларисина дочь, томная шестнадцатилетняя красавица с ростом и обликом манекенщицы, одетая в текущие, длинные шелка.

– Ну, пришел? – любопытство Ларисы относится к мужу, который ранним утром был выслан за поросенком в деревню к свекрови и теперь уже, по ее расчетам, должен был явиться назад.

– Пришел, – меланхолический голос дочери не сулит ничего хорошего.

– Привез?

Дочь снисходительно хмыкает:

– Жди! Ввалился в квартиру пьяный, упал на диван.

– Сильно пьяный?

– Без чувств.

– Ты у него спросила: где был? – раздражается Лариса на медлительность и вялость дочкиных реакций.

– Спросила. Он мне ответил: я поросенка пропил. И добавил: «Гы-гы», – дочь с незаурядными актерскими способностями и завидной точностью воспроизводит «Гы-гы», и на лицах сестер, несмотря на безрадостность описываемой ситуации, непроизвольно появляется улыбка.

– Надо было карманы у него вычистить! – спохватывается Лариса.

– Я вычистила, – выучено сообщает дочь.

– На хлеб оставила?

– Пятерку.

– Много, – досадует Лариса, – хватило бы и тройка. А лучше – два рубля. Проспится, точно спарится с кем-нибудь!

Дочь виновато молчит.

– Ладно, – машет Лариса на ее бестолковость, – иди переодевайся, будешь нам помогать.

– Сволочь, ну ты погляди, какая сволочь! – размышляя вслух, кипит старшая сестра, – до родной мамы не мог доехать! Третий или четвертый раз передает: заберите поросенка! Послала его как порядочного. Вот результат!

– Чего ты расстраиваешься? – Вера пытается ее успокоить, – ничего ведь нового он не совершил! Если бы он вернулся от мамы, – говорит она первое, что ей пришло в голову, – ну, допустим, на золотом коне...

– Ага, с поросенком под мышкой, – подхватывает Лариса, и тут же они представляют грузную, печальную в трезвости, фигуру мужа на тонконогом жеребце с золотой гривой, с вырывающимся из рук и хрюкающим поросенком... Обе залиvisto хохочут. Лето, матовые скороспелые яблоки в банках, сильная зелень листвы в окне; старшей сестре – сорок, младшей – почти на десять лет меньше.

II

Между ними никогда не было особой близости. Вероятно, из-за разницы в возрасте, из-за того, что долгое время они жили порознь. Лариса уехала из дома в четырнадцать лет, поступила в техникум, закончила институт, вышла замуж, поселилась в городе. Вера любила думать о том, что у нее есть сестра, мысль эта необъяснимо радовала ее, как греет сердце внезапно разбогатевшего человека воспоминание о солидном счете в банке, которым он в любой момент может воспользоваться.

Внешне они были мало похожи, но как это бывает с людьми, которые связаны родством, общими привычками, образом жизни, их похожесть все равно пробивалась сквозь непохожесть. Лариса выглядела моложе своих лет; Вера – по настроению, она, в отличие от сестры, мало следила за внешностью, сам вид зеркала вызывал у нее неприязнь. Обе были черноголовы, смуглокожи, тонки в талии, широки в бедрах; но в Ларисе все внешние черты прорисовывались с большей рельефностью, изяществом, определенностью. Брови ее были черны, черты лица – идеально правильны, грудь – полна, и редкий мужчина не останавливался на ней своего взгляда. Вера на ее фоне тускнела, замолкала, замыкалась, в них, конечно, было сходство, как если бы один и тот же пейзаж был написан гуашью и акварелью. Лариса любила яркую одежду и помаду, обувь на высоких каблуках; Вера, дожив почти до тридцати, все еще не знала, что она любила – она – думала... Из-за постоянной созерцательности, погруженности в свои мысли, она казалась мягкой, послушной, уступчивой; верно, в характере ее была изрядная доля покорности, но теперь вот, неожиданно для себя, она оставила мужа и приехала в родительском дом с ясным пониманием того, что больше к нему не вернется.

Сестры одинаково неудачно вышли замуж, но каждая переживала несчастье по-своему. Муж Ларисы, лентяй и пьяница, был так же ярок в своих недостатках, как его жена в достоинствах, выяснения отношений у них проходили бурно: с битьем сервизов, кулаками, ожесточением, матерными словами, собиранием и выливанием друг на друга всей грязи, которая неизбежно накапливается за годы совместной жизни, и в которой неминуемо утонешь, если не найти способ от нее избавляться. Муж Веры тоже пил, не отличался трудолюбием или умением зарабатывать деньги, но все же главной причиной ее неладной жизни было другое. Они прожили вместе почти десять лет, детей у них не было – она не хотела, а не хотела из-за того, что твердо знала, что не любит его. Вера много думала: почему?; из-за того, что не может любить в силу бесчувственности души – но ощущает же она боль, значит, должна найти и радость; или такого мужа и не должно любить – ведь любят всегда за что-то, а если не должно, то почему ей достался в мужья именно этот мужчина, а раз вышла замуж, значит, судьба, надо терпеть, сама виновата... И она терпела, год за годом низала коротенькие мысли как бусины; ей нравилось думать и вышивать бисером, и за время замужества получился целый ковер с замысловатым, странным, несимметричным узором. Когда Вера закрепила последнюю бусинку на основе, она перестала думать о муже, взяла на работе отпуск, собрала сумку и уехала к родителям, твердо решив, что назад больше не вернется.

Лариса, помыкавшись со своим алкашом по городам и весям, тоже перебралась два года назад поближе к отчому дому – здесь, у родителей, был большой огород, молодой, но уже плодоносящий сад, столетний деревянный дом с чердаком, погребом, сараями, в которых можно было держать птицу и скот. Семья ее жила в райцентре, в квартире со всеми удобствами, и то, что в застойные времена казалось благом – теплый туалет, отопление, водопровод – теперь раздражало усеченностью, дозированной площадью, невозможностью прокормиться в четырех городских стенах. В отпуске она безвылазно жила у родителей, высылая дочь присматривать за «постылым». Теперь Ларисе была радостна встреча с сестрой, которую она не видела несколько лет.

III

Отец и мать выбирали лук на дальней грядке, дочери в теньке, под навесом, плели его в тугие, тяжелые косы, подбирая уже подсушенные головки. Вера поочередно вязала фиолетовую луковицу, потом белую, потом желтую...

– Невеселая Вера приехала, – кивая на дочерей, заметила мать, – не случилось ли чего? Повыходили за дураков замуж, теперь и мучаются.

– Твое воспитание, – отец не упустил случая уязвить супругу, – почитали бы родителей, не вышли бы.

– А че я им сделаю?! Ты кричал: надо учить, давай в институты, вот и выучил на свою голову! Теперь сбежались все домой и будешь на старости лет их нянчить! Не поймешь, кто кого докармливает! А росли бы они попроще, не бегали бы с места на место.

– Ладно, – буркнул отец. Критику он не любит. – Гляди вон, лучину пропустила.

– Сорок два года прожили, а ума у тебя как было с четверть закрома, так и осталось. Лук собираешь, а горя лукового не видишь...

IV

– Галка Антонова с мужем ездят в Турцию, Румынию, Польшу, девчонку она бросила на мать (матери деньги платят за догляд, представляешь?!), открыли два магазинчика, деньги куют денно и нощно. Кто еще? У Зойки Серега зимой мясом торгует, летом сидит в лесополосе с пчелами. Там он деловой – страсть! Жаден, правда, до умопомрачения. Зойка каждую копейку потраченную в тетрадку записывает, трясется. Вообще, народ тут как-то вертится, дома строит, деньги копит, на что-то надеется. Вер, – Лариса испытующе смотрит на сестру, – вот ты – умная, – младшая сестра мягко улыбается в ответ на комплимент, – объясни, что над нашим семейством за рок висит?! Неужели мы с тобой хуже Галки или Зойки? Погляжу-погляжу, ни у кого таких мужей нет! Мой – это полный абзац! Я матери всего не рассказываю, это ведь фильм ужасов, а не жизнь! И твой – ну извини, конечно, за прямоту – редкое счастье! Специально будешь искать – не найдешь!

Вера собирается с мыслями, с теми, которые ею уже передуманы много раз, пережиты и похоронены. В эти минуты она почему-то чувствует себя если не умней, то старше сестры, и неприятности ее личной жизни, от которых она отстранилась за последнюю неделю, кажутся ей мелкими, несущественными. И сам муж, здесь, за сотни километров среди простой и объяснимой жизни, представляется жалким, беспомощным, брошенным.

– Наверное, ты права, мы – лучше многих, – начинает Вера раздумчиво, – симпатичные, образованные, работать вроде умеем. Но, понимаешь, природе необходимо равновесие. Браки свершаются на небесах – пары подбираются таким образом, чтобы мужчина и женщина в сумме образовывали некую выживаемую в любых условиях общность. А потом, добро должно иметь миссионеров. Ну, как в прошлые века, допустим, священники отправлялись окультуривать дикие африканские или индейские племена. Письменность им несли, христианство, основы цивилизации, изгоняли идолопоклонство, суеверия. Кто такие наши мужья? Те же дикари. С примитивными, почти животными, потребностями, первобытной грубостью, с растерянностью перед изменяющейся на их глазах действительностью. И вот, чтобы они окончательно не заблудились в лабиринтах земного бытия, мы, с помощью обманов природы, предлагаем им в жены. Свыше. Ты думаешь, с себе подобными им не было бы легче?! Сели, раздавили бутылочку на двоих, спать легли, день, ночь – сутки прочь. Но им, в противовес их дикой натуре, уже запланированы женщины культурные, терпеливые, тянущиеся к благополучию, домашнему очагу, семейным ценностям. Природа заинтересована в воспроизводстве нормы. И женщины-миссионеры годами гранят, шлифуют своих мужей, чтобы потом умереть со спокойной совестью. А залог такого чувства – сознание выполненного долга...

Лариса подозрительно смотрит на сестру:

– Сама придумала? Или вычитала где?

– Сама.

– Но с чего ты решила, что миссионеры именно мы?

– Подходим по все статьям.

– Подожди, но ведь, насколько я помню, этих миссионеров и на кострах жарили, и камнями забивали, и тиграм оставляли на съеденье!

– Это уж как крутиться будем, – младшая сестра лукаво улыбается, потягивается, распрямляя уставший позвоночник, и, уловив в лице Ларисы смешанное чувство сомнения, растерянности и тревоги, ободряюще смеется, – брось, не бери в голову, я пошутила...

V

Через месяц, когда картошка была выкопана, погреб заставлен банками с компотами, соленьями, маринадами, а хата побелена снаружи и внутри, они разъезжаются. Мать с отцом провожают дочерей до яблони за двором. Лариса едет с Верой в райцентр, а дальше, в область, младшая двинется сама. Объемистые сумки с деревенскими гостинцами оттягивают руки. Мать, не скрываясь, плачет, рот от боли у нее кривится. Отец, не зная как выразить сочувствие, гладит ее по плечу. Сестры, напротив, мало печалются. Здесь, в родительском доме, они почти соскучились по прежней жизни, той, где сами себе хозяйки.

– Все, дальше не провожайте! – командует Лариса. – Давай твою сумку, – приказывает она младшей сестре, – понесем на две руки!

Они идут по проселочной дороге к асфальту, стараясь не горбиться под тяжестью. Родители долго смотрят им вслед, а с раскидистой яблони уже летят первые осенние листья...

Анже, Анже...

Зима в этом году рано легла. Дворники не успели листья убрать, утром проснулись – снега по колено, а небо морозом затянуто.

В редакционном кабинете одной из столичных газет сидели четыре сотрудницы, одетые по-зимнему. Холода застали врасплох хозяйственные службы, так что про отопление в ближайший месяц нечего было и думать – трубы полопались. Но женщины, увлеченные беседой, похоже и не замечали выступившего по углам инея, застоявшегося в каменных стенах ледяного воздуха. Наталья Петровна, из-за которой все и собрались, даже расстегнула кроличью шубку, сняла шапку. «Героине дня» было под пятьдесят, выглядела она вроде бы и по возрасту, но совсем не оскорбительно для глаз. Лицо ее, с приятными славянскими чертами, излучало неподдельную доброжелательность и незлобивость. Белокурые волнистые волосы Наталья Петровна любила собирать в благородные прически, обнажая маленькие, чувственные ушки, в мочках которых всегда светились сережки с лазурью – под цвет глаз. Спецкора Цареву обожали читатели, любили дети (в том числе и собственный сын, результат позднего неудачного брака), уважали сослуживцы. Сегодня Наталья Петровна, несмотря на усталость, – она только что вернулась из недельного путешествия во Францию – выглядела особенно хорошо. Густые волосы, красиво перевитые сединой, богато блестели; блестели и от непроходящей прозрачной влаги глаза; и брошка перламутровая у воротничка блузки тоже блестела.

– ...Вышла я в аэропорту де Голля, стою, а меня никто не встречает. Десять минут жду, пятнадцать, уже рейса нашего нет, чемодан и я – на весь зал. В голове стала прокручивать всякие ужасы, – вздохнула Наталья Петровна, представив то, что могло бы случиться.

– Да-да, сколько наших девушек завозят за границу, бросают и добывают себе на пропитание, чем можешь, – подхватила завхозслужбой редакции Соня, высокая грудастая женщина в драповом пальто и рыжей тесной шапке. – Рисковали вы, Наталья Петровна!

– Вот-вот. Ладно, думаю, не пропаду. Деньжонки кой-какие есть, переживу. А тут ко мне француз в униформе склоняется, весь в учтивости: «Мадам, мадам»... Они знаете как к женщинам относятся?! – рассказчица торжествующе обвела взглядом притихших собеседниц. – На ногу если кто наступит – трагедия! Или: я, помню, замечталась, иду через дорогу, очнулась – красный свет. А движение страшное, восемь полос; я быстрее юбку подобрала, засеменила. А машины все стали, водители повыскакивали, улыбаются, «проходите, мадам»... В дверях – всегда пропустят, если знакомый встретится, то ручку норовит поцеловать...

– Петровна, вы бы не сбивались с темы, – подала организующий голос самая молодая из собравшихся, чернявая, с головой похожей на валенок, журналистка аналитического отдела. – Дальше как события развивались?

– Ну, он мне: «Мадам, мадам», – и еще чего-то. Мне французский как тарабарская грамота. Он тогда по-английски: exit, exit.¹ Оказывается, я не у того выхода стою. Кое-как объяснились. И только я из зеркальных дверей шаг сделала, слышу крик: «Наташка, cher moi, cher moi²!» Катится коlobком мой француз, Бернар, налетел, обхватил, целует, плачет, усами колется – у них там мода что ли такая, все усы отрачивают буденовские – лопочет по-своему. Я думала, он меня задушит, – Наталья Петровна смахнула слезинку. – Девочки, меня никогда за всю жизнь так не принимали, нигде, – торжествовала она. – Любое желание – на перевыполнение. В квартиру завел – я ахнула: мой портрет – на всю стену. Цветной. В каждой комнате – мои фотографии. Даже, извиняюсь, на стенке в туалете портрет.

¹ Выход, выход (англ.).

² Ко мне, ко мне (фр.).

Женщины завистливо помолчали. В холодном окне чернели крыши старой Москвы, кое-где прикрытые посеревшим снегом. Двое рабочих в обмятых оранжевых фуфайках топтались на верхотуре. У одного на голове была каска, у другого – тюбетейка. Мужчины не спеша курили, ковыряли носками грубых сапог кровлю.

– От судьбы, Наташ, видно не уйти, – стала размышлять вслух, выражая общие чаяния, молчавшая до сих пор завкадрами Чулкова, в прошлом – профсоюзный лидер. – Сколько у нас людей – в те времена – перебивало за границей, а жениха ты одна нашла. Когда у вас началось?

– Почти год назад.

– Вы в самолете вроде познакомились?

– Да, я возвращалась из командировки, а он по туристической путевке к нам летел. Сидели рядом. Смешной, все вина мне подливал – «Наташка, Наташка», визитку выпросил. Ради Бога, не жалко. И вдруг через две недели мне письма любовные стал слать, звонить по ночам, франки на цветы переводил. Такая удача: дома денег нет, а тут хоть сосисок куплю... К себе позвал, приглашение выхлопотал... В первый день он меня так по Парижу уводил, что я ногу растерла. (Туфли почти новые у соседки выпросила). Добрались до дома, он ранку увидел, охать, ахать – «момент, момент» – побежал, купил лейкопластырь, ступню мне вымыл, мозоль заклеил и ногу ниже косточки поцеловал!

– Сочиняете ведь, – усомнилась аналитическая журналистка.

– Молчи, ничего ты не понимаешь! – вступилась за подругу Чулкова. – У нее нога – 35-й размер. Золушка! Не то, что у меня – 38-й, – и она выставила крупную ногу в черном ботинке на проход.

– А у меня – 40-й, – подключилась завхоз Соня и примерила свою ногу к ноге Натальи Петровны. – Почувствуйте разницу. По снегу не проваливаюсь. Ничего мне не моют, зато стою твердо, не сшибешь, – она повела грудью, как богатырь, и не дожидаясь подруг первая смущенно захихикала.

Насмеявшись, женщины шумно завздохали как после тяжелой физической работы. Соня расстегнула драп, сняла рыжую шапку, но перемен в ее внешности не произошло – светлые волосы, подстриженные в кружок, сваялись и стояли теперь точь-в-точь по форме головного убора. За окном рабочие неспешно курили, кажется, уже по третьей сигарете.

– Нет, девочки, – мечтательно сказала бывшая профслужашая, невидяще глядя на рабочих, – Я Наташку понимаю. Вот это мужик! Ноги моет, цветы, портреты! У нас такие чудеса невозможны физически!

Сотрудницы зашумели, загалдели все сразу.

– И ничуть наши мужики не хуже, – обиделась аналитическая журналистка за державу и прижалась к овчинному воротнику.

– Как дальше будет, никто ведь не знает, – задумалась о своем Наталья Петровна.

– Вы, Чулкова, запомняли, у нас в молодости все было: и «миллионы алых роз», и серепады, и в постель на руках носили, – аргументировано стала доказывать завхоз. Аналитическая журналистка подозрительно смерила ее взглядом, прикидывая, каких размеров нужен муж, чтобы поднять роскошное Сонино тело; хмыкнула, мотнула головой, но ничего не сказала.

– А у меня не было, – упорствовала Чулкова, – хоть и муж хороший, и дети выросли, и пенсию недавно обмыли. А вот этого, – она изобразила в стылом воздухе неопределенными пассажами возвышенность, – не довелось. А сердце – просит! «Но как на свете без любви прожить», – развратным молодым голосом пропела она и понимающе подмигнула журналистке аналитического отдела. – Мне бы ее годы! Девочки! Что бы мы ни говорили, семей счастливых не найти – в каждой своя червоточинка. В постель на руках не носят, ноги не целуют – это не жизнь!

– Что вы, – возмутилась Соня, – я, например, вижу, что муж меня любит сейчас больше, чем «на заре туманной юности». И когда такое отношение, – она смешно шмыгнула порозо-

вевшим от холода носом, – даже неловко. Мужик, а от тебя зависит. От настроения, от вкуса борща. Ты к нему ночью спиной, а у него назавтра крах производства.

– Давайте все-таки не сбиваться с темы, – призвала компанию аналитическая журналистка, – мы собрались, чтобы обсудить личную жизнь определенного лица и дать ему квалифицированные советы. У жениха где квартира? В Париже?

– Нет, в Анже, – вернулась к рассказу Наталья Петровна. – Анже, Анже... Старинный город, двести тысяч населения, три часа езды по хорошей дороге от столицы. Квартирка небольшая, можно, если заняться, сделать ее очень уютной. А дом огромный, содержание – он жене оставил. Они разошлись, когда мы начали переписываться. Ну, не из-за меня, думаю. Небось и раньше случались нелады.

– Жену видела? – озабочилась Чулкова.

– А, – Наталья Петровна счастливо махнула рукой, – ничего особенного. Француженки, они ведь страшные, жуть! Плоские со всех сторон. Лица рыбы, лишённые смысла. Одеваются кое-как – брючишки, кофтенки, все маломерное, косметикой не пользуются. Представляете, туда летела, лицо себе делала. Встретились, а он мне через пять минут говорит, чтобы я все стерла. Мол, подумают местные, что мадам – русская проститутка... А когда я разделась, стала перед ним извиняться, что такая толстая (мы по-английски объяснялись), он закричал в ужасе: «Гуд, гуд!» Представляете, как они там натерпелись?!

– Мужики не собаки, на кости не бросаются, – с гордостью вставила мощная Соня. – Поискал, поискал ее в постели граблями и устал!

– А все-таки, почему же он с ней развелся? – задумалась вслух худощавая по сложению аналитическая журналистка.

– Ну, я так поняла, – заговорщицки понизила голос рассказчица, – не состоялась у них судьба под одеялом. Я глянула, она сухая, как стручок. Какая тут масленица может быть? Бернар все твердил: «Люси – примерная католичка, отличная мать». Со скуки можно подохнуть! А мужики сейчас насмотрелись видеков, их разбирает на приключения. Короче, у них – постельная трагедия.

– Да-да, все-таки это главное в жизни, – горько подтвердила самой себе важный вывод бывший профлидер. – Даже у буржуев.

– Послушайте, Петровна, – замаялась молодая журналистка, – на знаю как и спросить... Но без этого картина будет неполной... Как бы... Ну... Неформальная часть визита... Вы успели что-нибудь понять?

– Про интим, что ли? – обрадовалась Наталья Петровна. – Девочки, кавказский вариант. Еще в автобусе что-то шептал, шептал на ухо, целоваться полез... Сразу как случилось у нас, он мне пыхтит: «Наташка, не предпочитаешь ли ты выйти за меня замуж?» «Подумаю», – говорю. Я вам не показывала его фотографию?

Женщины склонились над небольшим снимком. С него задорно, распустив каштановые бутафорские усы, глядел коротенький круглый мужичок. Он весь состоял как бы из нескольких колобков – головы, смахивающей на веселую детскую погремушку; идеально очерченного животика; кривоватых, видимо, еще и согнутых для равновесия ног (жених стоял на горных лыжах у изъезженного снежного склона). Мужичок был откровенно не ах, но женщины, доверяя счастью Натальи Петровны, уважительно всматривались в глянцевое изображение.

– Веселый какой, – наконец похвалила завхоз Соня.

– Видно, что крепкий, не больной, – оценила завкадрами.

– А по национальности кто? – поинтересовалась молодая журналистка.

– Француз, – махнула рукой невеста, – да и какая разница...

Рабочие на крыше все-таки докурили. Выбросили смятую пачку, небрежно ступая, подошли к краю. Тот, что в каске, примерившись, стал ловко спускаться вниз, в зияющее пустотой нежилое окно верхнего этажа. Благополучно достигнув цели, он подстраховал товарища.

Женщины, все это время непроизвольно следившие за рискованной операцией, облегченно вздохнули.

– Слушайте, – спохватилась журналистка из отдела анализа. – А кем жених работает? Как с зарплатой?

– Бернар служит в филиале крупной кампании, я забыла название, – наморщила лоб Наталья Петровна. – Его задача – рассчитать, выгодна ли предложенная сделка фирме. Поначалу я ужасалась: он постоянно считает! В кафе: что выгодней, взять кофе или сок? В магазине. За обедом. Везде! Цифры, выкладки – он так этим увлекается! Не представляю, можно ли к такому кошмару привыкнуть... «Ситроен» у него цвета топленого молока, средство передвижения, будем к океану ездить; костюмов и обуви – я раскрыла шкафы – склад! Штук по сто. Правда, зачем столько – непонятно. Все одинакового фасона, цвета.

– Зарплата-то какая? – напомнила Соня.

– На наши деньги – двести восемьдесят три тысячи. – Наталья Петровна сделала эффектную паузу и закончила: – В месяц.

В кабинете сразу стало как-то особенно холодно. День засерел, повернул на вечер. Секретарша потянулась к выключателю, с потолка брызнул желтый свет. На стене, распластанная как медвежья шкура, висела вырезанная по контуру карта бывшего Советского Союза. Она была густо испещрена красными кружками – спецкор Царева отмечала на ней места своих многочисленных командировок.

Молчание затянулось.

– Да..., – озадаченно прервала тишину аналитическая журналистка. – Но, Петровна, вы же пишущий человек! Как вы будете жить на чужбине, в незнакомой языковой среде? И потом, что вы там будете делать? Чистить сто пар ботинок и столько же костюмов? Неужели быть французской домработницей почетней, чем русской журналисткой?! Ведь от их изобилия можно сойти с ума! Вся жизнь – на койках, «ситроенах», лужайках... Анже, Анже... Утратьте иллюзии! Потом, вы же совершенно не знаете этого Бернара, – Наталья Петровна попыталась что-то возразить. – Ну, хорошо, – поправилась ораторша, – знаете год по письмам и неделю очно. Но ведь не любите! А счастья без любви не бывает...

– Тебе хорошо рассуждать о счастье, – обиделась Наталья Петровна, – у тебя муж! Мужик в доме – великое дело. Брат ко мне приехал раз за три года, ходит по квартире, все кругом рушится. Взялся мне помогать, гвозди забивать, а я сижу рядом и плачу. Вы хоть представляете, – она обвела женщин повлажневшими глазами, – что значит быть одной, растить ребенка?! Какая ответственность! Каждый день понимать – не дай Бог сдохнешь – он никому не нужен! Трястись из-за копейки, все подсчитывать, а бывший мой появился раз в пятилетку, сунул сотню, так я его благодарю – с тайной мыслью, может еще когда что-нибудь даст. А сын? Постоянно все предотвращать – на каждом углу наркота, дрянь, вензаболевания. Куда ни кинусь, кругом одна. Потом, мне две операции, помните, за прошлый год по-женски сделали? От чего болячки? От тоски, от ненормальной жизни. Каждый день в руках сумка с картошкой, с продуктами. И понимание – завтра ничего лучше не будет. Не то, что сказки, вообще – ни-че-го! Что мы видели? Как так жить?

...Из редакции женщины вышли вместе. Офисные вывески, окна ярко, зовуще светились, и от этого темнота казалась гуще и зловещей. Прощались шумно – до завтра. Секретарша Соня и Наталья Петровна пошли вместе к автобусу. Спецкор Царева рассказывала о том, что Бернар собирается приехать в Россию, попросить благославения у ее мамы. А мама – в Оренбургской области, и как показывать французу поселок Кувандык? Дом плохонький, туалет во дворе, а когда буран, то вообще на ведро ходят... Но все это не скоро, не скоро... Соня привычно слушала, поддакивала и даже давала дельные советы.

Завкадрами Чулкова спешила к метро, приноравливаясь к неровностям гололеда. Она подумала, что Наташка дура, но тут же истребила прозрение бескорыстным пожеланием: «Дай

ей Бог всего!» Чулкова стала мечтать: о розовых розах – целой охапке – которую ей подарит Некто на глазах у мужа; о путешествии к океану на «Ситроене» цвета топленого молока; о каких-то особых поцелуях... На душе у неё было тепло, покойно.

Журналистка аналитического отдела по пути домой зашла погреться в дорогой магазин. Она ни о чем не думала, не смотрела на цены – отдыхала. В магазине было много зеркал, молоденьких накрашенных продавщиц, иностранцев, которые роились и жужжали по залам. «Новые русские» на ходу наслаждались мобильными телефонами, лица у них при разговорах становились детскими и неразвитыми. Наотдыхавшись, журналистка вышла из магазина. У заплеванного входа требовала милостыню старушка «а-ля Диккенс», протягивая прохожим пустую и глубокую горсть. Журналистка присмотрелась и решила, что старушка ряженая – на работе. Но монетку ей все же дала. Нищенка автоматически пожелала здоровья и благ.

...В Анже выдался прохладный вечер – плюс двадцать по Цельсию. Бернар Люмье, мелкий служащий крупной кампании, весь трудовой день обсчитывал новый проект фирмы. Теперь он сидел дома, за письменным столом, и красными закатными глазами грустно глядел за окно. Две женщины замаскированных лет рассеянно курили под уличным фонарем, от скуки ковыряли носками вульгарных туфель зеленый газон. Дамы ждали клиентов. Люмье прикинул на бумажке возможные расходы и устал еще больше. Он в задумчивости покрутил длинный ус в разные стороны, придвинул свежий лист. «Наташка! – старательно нарисовал он русскими печатными буквами, – я тебя лублу!»

Дамы за окном все курили и курили. Бернар прощально вздохнул и опустил жалюзи.

Про Мишу, Гришу и Тишу

У Лиды Мостиковой легкая рука: что ни посадит, кое-как в землю потыкает, – все цветет, колосится; помидоры величиной с бригадирскую рожу, гарбузы как небольшие поросята, ну, не колхозные, конечно, а огурцы вообще наводили на неприличные ассоциации. Лидин сожитель Миша так и говорил, восторженно: «О... ительные огурцы!» – и хрумтел овощем, сидя на крыльце. Лидиных детей – Веру и Вову – Миша не стеснялся, соседей тоже. А чего, и не такое слышали! Юность у Миши была буйная, молодость тюремная, и потому в зрелость он пришел обогащенный специфической лексикой и нетрадиционным опытом. Но красивый мужик был – крепкий, мускулистый; летом ходил всегда до пояса обнаженный, дубил кожу под солнцем, играл наколками – русалка грудастая, голубки. На работу не устраивался – домохозяин, с косой его правда, никто не видел; но бычки в загоне не ревели – сытые; как ночь Миша выходил на промысел, таскал вязанками, мешками силос с фермы, комбикорм.

Лида работала дояркой, вставала рано, с утренней дойки, таясь, приносила молоко. Стряпала, будила детей, наглядывала хозяйство, огород: Миша к тяпке не касался – «бабье дело», и дальше весь длинный летний день сновала по двору, спешила к очередной дойке, вывешивала стиранное белье, успевала сбегать в магазин за хлебом и спичками.

В дождливые дни Лида гнала самогон. Затапливалась печка во времянке, возбуждающие ароматы плыли по улице имени поэта Некрасова, к вечеру запрограммированно-телепатически сползались пьянчуги – Алеша-Мякота, Гончар, Крячкин, Таиска – Лидина подружка. Гульба начиналась культурно: заводили проигрыватель, ставили пластинку «В доме, где лесной палисад», оживление, хрустальный звон граненных стаканов, дегустация, грубые комплименты хозяйке. Миром, правда, дело никогда не кончалось – Миша пьянел, властнел, жутко начинал ревновать, слово за слово разгоралась драка, с улицы казалось, что домишко трясется и шатается, и рад бы сбежать от хозяев, да тоже пьян; наконец званые гости один за другим пересчитывали ступеньки, и близился последний акт драмы – сначала вылетала растерзанная, простоволосая Лида, за ней коршуном неся Миша с ножом или топором в руке, «ах, ты, матермат, жареная утка!» – и вслед за ним спешили, хватали за штаны Вера и Вова, в надежде отбить мать. Иногда Лида, спасаясь, врывалась к нам, в тесных комнатенках за ней катились ложки-поварежки, отец закрывал дверь на крючок, и Миша, поругавшись и погрозив, шатаясь, уходил ни с чем. «Ты бы, Лида, не пила и он бы одумался», – наставляла соседку мама. Лида пьяно плакала, соглашалась, и норовила обнять отца. Он смущенно отодвигался...

В получку Лида обычно отправлялась в город, в райцентр, закупала, не считаясь с расходами, всякой снеди, водки и пива; несла тяжелую сумку не горбясь, закаленная на колхозной ферме пятидесятилитровыми алюминиевыми флягами. Веселая, в парадном кримпленовом платье розочками, вырез сердечком, прибежала, хвасталась: «Живем как москвичи – все есть!» И все в ней радовалось: худая жилистая шея, похожая на потрепанное знаменное древко; яркие-разъярные губы (помаду у цыганок купила, на базаре), стоптанные синие тапочки. Довольные погодки – Вера и Вова – висели на заборе, уплетали щедрые ломти с шоколадным маслом. Наутро Лида повязывала платок пониже, чтобы «фонари» меньше отсвечивали. Вера прибежала к нам, показывала синяки на руках и на ногах – «что было, дядька Мишка опять дрался» – и подробно, даже с некоторым удовольствием, живописала ужасы прошедшей ночи. Заручившись нашими охами и ахами, отбывала – сдавать в магазин стеклотару.

Миша отходил от «московской жизни» только к вечеру, брился во дворе, плескал воду на грудь из самодельного рукомойника, садился на порог. Задумчиво курил, глядя как падчерница фигуристо управляет хозяйством: курам сыплет, телятам пойло несет; коса толстая, тяжелая, медовая, груди под простым платьем уже как на русалке-наколке... Какие мысли бродили в уркаганской головушке, неизвестно; но нехорошо смотрел дядя Миша, нехорошо,

про это сама Вера нам рассказывала. Кончилось все, впрочем, неожиданно: поздней осенью, в слякоть, дождь, распутицу, Миша отправился в очередную «ходку» и не вернулся. Утром его нашли, мертвого, на дороге – шальной ли пьяный водитель не заметил переходящего трассу пешехода, или дядя Миша, нагруженный мешком силоса, за заботой и думами не услышал шума машины, неизвестно. Дождь смыл следы, а ночь скрыла тайну.

Лида была в горе, рвала волосы, затребовала из колхоза материальную помощь и собралась похоронить Мишу по высшему разряду. Но тут неизвестно откуда объявилась первая жена погибшего, стала требовать дележа имущества, сберкнижку (у Миши, как выяснилось, был дотюремный сын). Разразился скандал, и память покойного была проклята. Оказалось, Миша воровал не только у государства, но и у Лиды, ухитряясь отправлять какие-то деньги первой семье. Вдовы обложили друг друга матом, но приезжая вынуждена была убраться ни с чем. «Я с Мишкой не записана, и знать его не знаю», – припечатала Лида, и колхозная машина повезла покойника в соседнюю область, на родину. Самогон, впрочем, Лида все равно затеяла, и с подругами справила и девять дней, и сорок – как положено. После пришла советоваться к маме: «Может, что подскажешь, соседка? Нашли мне тут мужика, серьезного. Одинок, спокойный.» – «Сходилась бы ты, Лида, со своим. То хоть детям отец...» – «Что ты кажешь! Он же алкаш, пьяница!» – замахала Лида руками.

И в Лидином дворе появился новый мужик, Гриша, – молчаливый, хмурый, в годах уже, или шахта его раньше времени состарила, в общем, пенсионер досрочный. Стать свою полуголюю не показывал, как Миша, в кепочке ходил и в костюмчике старом, ругался только по поводу. Пил тихо и редко, но страшно – недельными запоями, с явлениями летающих тарелок, инопланетян, невиданных белых животных. А мастер был природный – по плотницкому делу, по столярному; в трезвое время подправил штакетный заборчик, перебрал сараюшку по бревнышку, даже печку во времянке переложил. Лида задумалась: колхоз давал участки под застройку всем желающим, дети росли – Верка совсем на выданье; у Вовки усы чернели; а жили все в колхозной квартире – две комнатки с коридором, в любое время можно оказаться на улице, если председателю не угодишь. Вскоре стройка закипела – Гриша тесал бревна, ходил с карандашом за ухом, даже пить меньше стал; помаленьку дело пошло – по деньгам: один год сруб, другой – стропила, шиферная крыша, третий – отделка... Лида насажала плодово-ягодных и прочих душистых кустарников – жасмин цветет, или яблоня, или черемуха с калиной; летом мимо идешь – изобилие, абрикос мостом лежит, травы не видно; малина рясная, груши от сока лопаются, подсолнухи больше солнца, головастые, и пчелы со всего околотка слетаются. И все как бы само собой зреет, наливается, здоровое, крупное, – зеленый рай! Верка тем временем вышла замуж раз, пожила два месяца со свекровью – разошлась без последствий, не понравилось. Тут же, спустя неделю, за другим очутилась. Вовка тоже женился, ушел в примаки. А у Лиды новоселье, сидит за двором, на лавочке кленовой со спинкой, рядом Гриша; ноги вытянул, солнцу подставил; что-то со здоровьем нелады последнее время, ну, отлежится, и дальше по двору: ходит, ищет работу, топориком постукивает.

Потом Гриша слег. Совсем ноги отказали. Лида жаловалась в магазине, в очереди (время в стране было странное – водку ограничили): «Такой нудный Гришка стал, скулеж каждый день: помру, да помру, – на ведро когда встанет, когда нет, придуряется»... «А ты своего пенсионера в дом престарелых отправь», – подзадорила Лиду подружка Таиска. Поохотали, посмеялись, а на следующей неделе к новому дому по улице имени поэта Некрасова подкатила машина с голубой надписью «Социальная служба» и эвакуировала Гришу в приют. Лида приободрилась, расправила плечи, встретила моего отца, подмигнула: «А я снова невеста!»

Но тут случились неприятности – все сразу пошло прахом. Вовка проворовался, угодил на «химию», что-то накуролесил и там; его снова судили и отправили в лагерь на Север. Верка развелась, заявила домой битая, но не успокоенная – дружки-грузины, лавочники-киосчники ехали и шли как к себе домой ночью и днем. Лиде это не нравилось, но делать

было нечего – времена наступили не те, чтобы доярка могла построиться или купить какую-нибудь завалящую хатенку. Приходилось терпеть дочь, выхаживать младенца Сергея, хотя колхозно-акционерные коровы стали тощие и молоко давали через раз.

Она как-то осунулась, присмирела; рот провалился как у старухи, хотя зубы вставила, улыбалась широко, железно. Но бодрости не теряла, легко двигалась, билась за жизнь. Помню, стоим мы в толпе на остановке в городе, подходит автобус – битком! Лида просто ввинчивается в створки и меня за собой тянет: «Давай лезь, мы с тобой худые, как тараканы, в щелки забьемся,» – затащила-таки! Пить она меньше стала – «охоты нету, знаешь». А может, Таискин пример подействовал – та совсем спилась, дом бросила, живет подаяннем да сбором пустых бутылок, ночует где придется; красивая была женщина, могучая, солидная, как Людмила Зыкина.

Ну вот. Туда-сюда, а тут мама говорит: «А Лида Мостикова опять замуж вышла». Что сказать? Насидишься в девках, надумаешь, но и один раз не соберешься, все строишь прогнозы, предположения, трудностями запугиваешься, несходством характера и проч. Ай да Лида!

А вышло вот что. Отец Веры и Вовы, злостный антиалиментщик, пьянь подзаборная, туберкулезный больной, все-таки удостоился благоустроенной квартиры в райцентре. Лида, как узнала, сразу к нему. Глаз у нее, конечно, наметан, да и жизненный опыт каков! Сразу поняла: не жилец. Что уж она говорила Тихону Ильичу, неизвестно, но вскоре Верочка с Сережей прописались и въехали в квартиру к папе, сам Тиша обосновался на той же самой кровати, где почивал когда-то Гриша, а Лида снова в заботах – как же, муж законный, загсовый! Неделю пожили, а дальше она все как положено справила – и похороны, и поминки, и девятый день, и сороковой...

Поликлиника у нас в одном здании с домом престарелых. Нужна мне была справка о флюорографии, иду летом, жарко, в тень стараюсь попасть. Возле здания на скамеечках старушечки в платочках, беленькие, отмытые, щебечут, прохожих взглядами провожают. С краю сидит дедушка с палочкой. Присмотрелась – ба, старый знакомый!

– Здравствуйте, дядя Гриша, – говорю.

Он взгляделся, узнал. Поздоровался.

– Как здоровье? – киваю на ноги.

– Ничего, подлечили. Хожу вот, думаю

Мы посидели, помолчали.

– А она приходила позавчера меня забирать. – Я вскинулась, не поняла. – Ну, Лида-то, – пояснил Гриша. – Я не пошел. Кормят нормально. На папиросы дают... Цветы в горшочках. Культура!

Дома я рассказала про Гришу. Посмеялись, поудивлялись. Потом на свои дела перешли, что-то про огород, про сад... Орех грецкий посадили, каждый год вымерзает. Летом, конечно, отходит, побеги дает, но роста никакого. Картошка чистая, три раза прополотая, но жук заедает колорадский, и в прошлом году неурожай, и в этом, наверное, тоже. Вот разве что огурцы... Да, с огурцами этим летом повезло...

СВИТОК

В Астрахань мы прилетели в два часа дня. Самолет долго заходил на посадку и я увидела – реки, речушки, протоки, цвет был нездоровый, неяркий, будто кисти после акварели выполоскали. Серые домишки жались у воды как дикие утята-перводневки. Идеальные прямоугольники рисовых чеков, озерца, похожие на пересыхающие лужи. Редкая зелень у дорог и желтая голая земля.

– Влипли, – сказала Лера, принимая к иллюминатору.

– Разве это жизнь? – поддержала я ее. Мы вылетали из Домодедово и я вздыхала, глядя на подмосковные леса: темные, упругие, они манили к себе, и мне мечталось – жить бы где-нибудь в глуши, вдали от людей, в теплой избушке, ходить по малину и грибы с легким лукошком, пахнуть костром, выучить все приметы... Ничего подобного от Астрахани ждать было нельзя – мы прилетели сюда работать.

В аэропорту нас встречал бородатый Гусев, хранитель местных музейных древностей. Он-то и обнаружил, разбираясь в запасниках, папирусный свиток с изречениями отцов пустыни. Коптский язык, приблизительно III век. Свиток был настолько ветх, что рассыпался на глазах. Еще десять лет назад такая находка стала бы мировой сенсацией, но в стране было смутно и трудно, и никаких реставрационных консилиумов собирать не стали. Просто послали нас с Лерой: «Если можно что сделать – смотрите на месте. А нет – так нет».

Гусев на своем «Москвиче» вез нас в гостиницу и взахлеб рассказывал Лере про то, как он нашел свиток. Лера улыбалась, поддакивала и я знала, что больше всего на свете она сейчас хочет есть – мы были на ногах с пяти утра. Машина бежала мимо унылых вытоптанных лужаек, одноэтажных деревянных домов с кривыми палисадниками, домов побольше с облупленной, старой краской. Было хмуро, ветрено; Гусев говорил о погоде, о том, что в июне всегда жарко, а мы вот привезли прохладу, что лучше всего бывать здесь в августе, когда арбузы, и что мы еще полюбим город. На административных зданиях трепыхались белые, выцветшие флаги, и по такой же белой пыли исправно бежал наш «Москвич».

Мы остановились в «Лотосе», на самом берегу Волги. Гусев долго и вежливо прощался – «до завтра», мы с Лерой улыбались из последних сил; а потом, когда он наконец-то ушел, я повалилась на кровать прямо в одежде, а Лера купила у дежурной по этажу банку соленых огурцов (больше ничего не было) и сразу начала есть. Я думала: про свиток – вдруг не справимся, про трудности коптского языка и про то, что надо бы встать и вымыть руки...

К вечеру, отлежавшись и отъевшись, мы решили осмотреть город. Это была моя идея – посетить базар и понаблюдать за местными нравами.

Мы вышли к набережной, река была пустой и серой, волны толкались в гранит и бежали назад. Близко к воде летали чайки и я подумала, что здесь, конечно, очень глубоко... Лера напомнила мне про базар.

Несмотря на сравнительное светлое время, улицы казались подозрительно пустыми, изредка угадывался запах чего-то вкусного – мантов или бешбармака, но кафе и магазинчики были уже закрыты. У рынка два милиционера запирали на амбарный замок входные ворота. По тополиной аллее, качаясь, шел грузный, черный турок.

– Такое чувство, что мы в Египте, – не выдержала Лера.

– Да, – сказала я. – Не хватает только кальяна.

Но в одну минуту скучный, пустынный покой нарушился. Небо словно лопнуло по швам, и вслед за треском, скрежетом, в одни прорехи хлынул дождь, в другие – ударил ветер. Он мгновенно испортил мне зонт и до груди задрал на Лере сарафан. «О-го-го», – кричали мы друг другу сквозь шум, цепляясь за тополя. Ветер бил со всех сторон, в черных лужах пля-

сали сброшенные с деревьев молодые ветки, кроны над нами ревели, как реактивные турбины, и вообще было такое ощущение, что Астрахань вот-вот взлетит.

Но ненастье кончилось так же внезапно, как и началось. Исхлестанные дождем, мы робко толкнули дверь полуподвального заведения с голубыми фонарями. Публика «Золотой короны» из начинающих фотомоделей и местных купчиков презрительно отвернулась. К нам долго никто не подходил. Наконец официант, смуглый красавчик в красной жилетке, не спрашивая, принес два кофе и рюмку водки. Лера выпила, глаза ее увлажнились. «Пошли?» «Пошли».

Тяжелее всего мне ночью, когда темно, не на чем задержаться взглядом, и нельзя придумать себе никакого занятия – экскурсии по городу или реконструкции коптского текста. Лера спит. А я думаю и жизнь представляется мне неправильной, несовершенной в части собственных поступков. «За каждый светлый день иль сладкое мгновенье// Слезами и тоской заплачешь ты судьбе» – разве это справедливо?! Во-первых, мне ни за что не расплатиться, а во-вторых, почему надо платить? Может, потому, что люди воспринимают счастье как должное и забывают откуда оно? Бесценный дар – лично мне, чтобы я раздала его всем без разбора и счета...

Проснулись мы с Лерой в четыре утра. Было уже светло, за окном истошно, громко, жутко каркали вороны.

– Вы слышали, как поют дрозды? – сонно подала голос Лера со своей кровати.

– Астраханские соловьи, – пробормотала я.

Мы потом весь день нервно посмеивались, вспоминая это карканье.

Наконец-то едем в музей смотреть свиток. Лера как ни в чем ни бывало болтает с Гусевым, рассказывая о наших вчерашних приключениях, Гусев смеется и ведет машину без правил, а я беспокоюсь ерзаю. Все должно быть не так – я столько времени мечтала о настоящей работе, трудной, тяжелой, с которой никто не может справиться – только я, и вот теперь сердце мое молчит. С таким же успехом коптский список мог бы расшифровать любой другой переводчик.

– Остановите, – это Гусеву. – Без меня не начинайте, – на всякий случай предупреждаю я Леру.

Быстро сворачиваю в первый попавшийся переулок, потом еще. Сажусь на скамейку. Мальчик, совсем крохотуля – лет пять от силы, в розовых шароварчиках и светлой футболке рвет на лужайке ромашки. На плече у него висит прозрачный целлофановый пакет. Видно батон хлеба и сдачу.

– Эй, парень, – окликаю я, – тебе сколько лет?

– Състь сколо, – мирно отвечает мальчишка.

– Ты что, сам в магазин ходишь? – продолжаю я выпытывать.

– Сам, – кивает он.

– А цветы кому?

– Маме, – удивляется мальчик.

Потом я в одиночестве брожу по местному кремлю, обхожу несколько раз вокруг Успенского собора, так, впрочем, и не решившись войти внутрь – я была в брюках; проклиная собственную лень и безволие, и, не вполне довольная собой, распросив дорогу, отправляюсь в музей.

Вечером мы сидим в буфете, и пока словоохотливая гостиничная хозяйка жарит нам яичницу, Лера подозрительно нюхает свои руки и делится: «У меня глаза полны физиологического раствора». Ей, конечно, досталось – свиток и впрямь ветхий. Я прокручиваю в голове варианты греческих, латинских переводов – нет, кажется, нигде не было! Открытие? Часть авв

(изречений) совершенно неизвестны. Можно переводить двояко. Ко мне возвращается утреннее состояние, и я уныло скребу вилкой по сковородке.

– Ты чего? – беспокоится Лера.

– Ничего, – вздыхаю я, – все нормально.

Сославшись на усталость, ухожу в номер. Лежу, уткнув голову в подушку и думаю: на что мне счастье, если я не умею о нем рассказать?! Как будто нет женщин достойней меня! Иногда кажется, что твоим делом спасется мир, но когда, отстранившись, смотришь на жалкие потуги спасения, хочется выброситься в окно. Но жалко Гусева, Леру и всех, кто потом будет жить в этом номере.

Крещенные египтяне, копты, уходили в пустыню, монашествовали. Жизнь становилась проповедью, слово – действием. Ну, не зря же этот свиток пропадал столько веков, и был в конце концов найден именно сейчас?! Лера питает, клеит и фотографирует папирус – она два года училась в Египте. А у меня в горле застревают и спотыкаются слова, переводы никуда не годны – ложь, бессилие, глупость!

– Лера, – осторожно спрашиваю я, – а тебя часто волнуют высокие материи?

– Ага, – зевает Лера. – Только мне хочется казаться простой. Ну, чтобы люди не мучились. Чтобы им легко было и чтобы они чувствовали себя сильнее рядом со мной.

– Зря ты это, – говорю я в подушку. – Жизнь не обманешь. Это все равно что жить как блудница, а думать как монашка. Разве долго так можно выдержать?!

– Не знаю, – смеется Лера. – Тебе по твоим думам давно пора в монастырь, – она еще что-то говорит, но я ее уже не слушаю, судорожно хватаю свои сегодняшние записи, ищу, ага, вот! У меня получается:

«Авва Моисея. Шестая.

Брат некий пришел в скит к авве Моисею, прося у него поучения.

Говорит ему старец:

– Ступай, затворись в келье твоей; и келья научит тебя всему».

Дни пошли похожие один на другой. С утра мы отправляемся в музей, работаем до обеда, перекусываем бутербродами и снова корпим над свитком. Текст оказался не вполне оригинальным, да и век – четвертый, как выяснилось позже. Гусев занимается происхождением, прорабатывает Эрмитажную версию. Худо-бедно, но переводы двигаются. Правда, мне пришлось отказаться от многих жизненных удовольствий, и на вечерние прогулки Лера теперь отправляется вместе с Гусевым.

Для себя я иногда оставляю совсем вольный перевод. Вроде такого:

«Авва Арсения. Вторая. И сказал Арсений:

– Взял господь в руки хлеб и отломил край. То – женщина.»

Лера смотрит на такое творчество скептически – параллельно с работой она учится в аспирантуре МГУ и собирается защищать диссертацию по феминизму. Впрочем, на ее передовые идеи я тоже взираю с подозрительностью – если она такая независимая, то почему покорный Гусев платит за ее ужины? Спорим мы часто, и я с тоской чувствую себя ископаемым, вымирающим видом. Аргументы мои рассыпаются как свиток. Лера здорово подкована и рьяно доказывает равноправие женщин на труд, творчество и политические права. Я вяло соглашаюсь, но про себя думаю: «Какое равноправие? Все равно в мужиках больше и ума, и дури. Соответственно, дерзости и таланта. Какая конкуренция, если каждый месяц я на неделю стабильно выбываю из строя, плюс три дня неизбежной депрессии, не говоря уж о ежедневном бремени по обустройству жизни. И при чем тут участие в политической борьбе? Да не хочу я никакого участия! Бред, атеизм.» Короче, все это меня злит. А тут еще слово, которое нужно тащить из себя, и делаю это я из последних сил, возмущаясь – вот тебе, равноправие! Я вздыхаю и перевожу: «Авва Пимена. Шестдесят третья. Сказал авва Пимен:

– Приучи уста твои говорить то, что есть в сердце твоём».

Нам потребовалось три недели. Конец свитка не уцелел – после тридцать седьмой аввы Сисоя Великого папирус кончался рваным краем. Мы заполняли последние бумажки, склеивали фотокопию. Пришел Гусев, довольный: «Едем на острова, в дельту».

«Дельта, черная земля, Египет – дар Нила,» – вертелось у меня в голове. Гусев вел «Москвич», аккуратно объезжая лежащих прямо на дороге худых грязных коров. Мы ехали дальше на юг, в Караульное, к старинному гусевскому другу, у которого есть моторка, острога и икра.

Наконец-то, впервые за все время распогодилось, и солнце щедро плескалось в бесчисленных протоках и ериках. Я взгрустнула, что не взяла купальник, что проходит лето, и что меня занесло в такую даль... Но внешних причин для печали не было – розовый кустарник цвел по обочинам, качали метелками серые камыши, услужливый Гусев развлекал нас пристойными анекдотами, а к Лере я успела привыкнуть и привязаться.

В Караульном нас дожидались друг Коля и друг Костя, Тамара с натруженными руками, два матроса в задубелых бушлатах и длинных рыбацких сапогах. Три недели я просидела в музейной келье, а жизнь, оказывается, шла, и какая – моторка режет волну, брызги холодным веером; и вот уже остров – зеленый, нетронутый; матросы расстилают на траве маты, Тамара с Лерой раскладывают провизию, друг Коля варит уху. Пахнет ветром, перцем и жареной рыбой.

– Еще вчера здесь фазана выдэл, – говорит мне дагестанец Костя, трогая за плечо. – Мы на моторке шли, цапля в камыше стояла.

– Да, – кивнула я, хотя ничего не видела.

Все прекрасно: Лера пьет с Гусевым на брудершафт, а я хлебаю пахучую уху с золотыми монетками жира; Тамара рассказывает, что муж ее бросил и давно уж помер от пьянки, но ничего, она приспособилась без мужика; друг Коля подкладывает в мою тарелку икру, ее так много, что она теряет всякую ценность; глаза у Коли синие, с поволокой, и чем больше он пьет, тем синее они становятся... Но почему вдруг такой тоской повеяло из дали, зеленой, зовущей?! На секунду сверкнуло и исчезло – человек богатый и знатный, оставил оазис и ушел в пустыню, для кротости набросив на себя на себя власяницу. Желания мои, толком не родившись, стали противны.

– Будет дождь, – заметила я, – пристально глядя в наглые глаза дагестанца Кости.

– Как дождь? – удивился он. – Э, – закричал Костя, вскакивая, – собирайся!

Темный, кутающийся в клубы туч крокодил полз по небу. У горизонта на землю пролились толстые световые лучи. Замолчали птицы и вода в реке казалась совершенно черной.

Самолет у нас был в три, а номер попросили освободить к двенадцати. Лера слегка похлопывала носом после вчерашнего потопы. Мы вынесли вещи на пристань, опустились на скамейку. Катера в этом году не ходили – не было горючего, речной вокзал был пуст. Кавказец напротив гостиницы жарил шашлыки на продажу, и сколько я помню, никто у него их не покупал.

Мы поговорили с Лерой о Москве, о свитке, о том, как лечить насморк, и во сколько за нами приедет Гусев. Сумки у нас распухли и пахли селедкой.

Подошла цыганка, высокая, осанистая, глаза у нее азартно горели в предвкушении легкой добычи. Тряхнула юбками, фальшиво зачастила:

– Милые, красавицы, погадаю вам, прошлое-будущее расскажу, интерес укажу!

– У нас денег нет, – честно предупредила Лера.

– Эх, кудрявая, много кавалеров, да все неверные, хочешь приворожу? А ты, рисковая, – угрожающе повернулась она ко мне, – думаешь, твоей жизни никто не знает? Что молчишь?

– Правда, ничего нет, – сказала я и вывернула брючные карманы.

В Домодедово мы с Лерой расстались – сразу подвернулся ее автобус. Я растроганно помахала ей, ловя себя на мысли, что стала благовоспитанной, как Гусев.

Оставшись одна, я первым делом бросилась к телефону. Номер не отвечал. «Ладно, – сказала я. – Ладно».

Автобус шел по МКАД, жаркий, как раскаленный сейф. И я думала: «Господи, надо было лететь на самолете и не разбиться, мучиться переводами, давить искушения, просыпаться под карканье ворон, спорить с Гусевым о политике, а с Лерой о феминизме; надо было просто выжить эти три недели, разворачивая свиток по сантиметру, и все для чего?! Чтобы глядя в его веселые глаза, ответно улыбнуться и сказать: «Все хорошо».

На Канарах

I

Ольга Дубравина улетала отдыхать на Канары.

– С мужем? – ехидно интересовалась по телефону приятельница.

– Нет, – Ольге почему-то было неприятно объяснять. – У него много работы.

– Значит, с любовником? – допытывалась трубка.

– Не говори ерунды! – искренне возмутилась Дубравина.

– Ну, тогда за любовником, – и на другом конце провода горестно, подытоживающе вздохнули.

...В первую же ночь на острове она проснулась в просторном и пустом номере от грохота – далекого и близкого. По балкону кувыркались пластмассовые стулья, бились о стеклянные двери. Внизу, у подножья шестнадцатизэтажного отеля, рокотал океан, свежая пена рвала темноту. Волн не было видно, прибой барабанно бахал в скалы, океан шел на штурм. Ветер выл, свистел и пугал, как в голодную русскую зиму. Ольге вдруг стало страшно и одиноко. Почему-то ей представился голубой глобус в аккуратной сетке меридианов и параллелей; планетка была расчерчена на милые, симпатичные, но все же тюремные клеточки. Чья-то жестокая рука крутила, забавляясь, глобус, произвольно выбирала жертвы. Невидимая власть разгребала тесную московскую суету, легко, двумя пальчиками, взяла за шиворот Дубравину, играючи пересадила ее в другой квадратик планеты. Ольга не была «новой русской», летом отдыхала в Крыму или в Сочи и никаких экзотических островов никогда не желала. Все вышло странно: президент их фирмы, скупой, некрасивый грек с такими характерными чертами лица, что Дубравина при встрече с ним долгое время не могла сдержать улыбки, вдруг вызвал ее неделю назад, похвалил за толковый отчет и вручил конвертик с путевкой. Противиться было невозможно – в фирме это понимали. И вот теперь Ольга лежала на необъятной казенной постели, величиной с ее комнатку в Москве и тревожно слушала заоконный рев. Она накрывала голову тощей синтетической подушкой, но волокно лишь убирало шумы, помехи; казалось, что легионы, закованные в броню, идут на приступ, скандируя в тысячи беспощадных глоток «У-езжай! У-езжай!» Под утро, когда в гигантских – на всю стену – окнах посветлело; океан стал стихать, и она уснула.

Днем, лежа в теплом каменном закутке на берегу, она лениво вспоминала свои страхи. Ветер все еще трепал верхушки пальм, облака набегали и кутали непослушное солнце, но океан помалкивал, редко и презрительно шлепал волнами, брызги были похожи на плевки. Вода была зловещей и темной; редкие купальщики, преимущественно старые, изможденные немцы, ничуть не стеснявшиеся и, похоже, даже гордившиеся своей устрашающей наготой, отважно окунались, не решаясь плыть. «Все-таки странно устроена жизнь, – размышляла Ольга, механически подсчитывая глазами немцев, – в Москве – зима, черные остовы деревьев на бульварах. Казалось бы, мертвые деревья, без листьев, обледелые. Что они делают всю зиму? Умирают и думают. А тут – вечнозеленая пальма. Плюс тридцать в любое время года. И прибрежные скалы – цвета ужаса», – она насчитала двенадцать немцев мужского и женского пола и прикрыла глаза.

Нет, хорошо ездить по свету, открывать новые страны, ступать по чужой земле, где рядом растут знакомые ромашки и диковинные, ушастые кактусы. Хорошо, – Ольга вспомнила сегодняшнее умиротворенное утро, – смотреть с высоты на банановые плантации, видеть, как из воздуха, налитанного ночным дождем, рождается многослойная радуга, тугая и яркая. Хорошо быть спокойной и беззаботной, иметь красивую, пахнущую кокосовым маслом, моло-

дую кожу, носить короткие шорты и просторную майку, и ни о чем, ни о чем не думать! Она радостно повела плечами, приподнялась на локтях, по-новому взглянула на побережье. Здесь красиво и солнечно, и даже немцы, ровесники третьего рейха, чувствуют себя бодро. Значит, есть другие миры, совсем рядом с обыденностью, есть счастливая, карнавальная жизнь. Земной шар, конечно, в клеточку, но не в тюремную, а в шахматную, и любая проходная фигура может обернуться королевой, оказавшись на нужном поле. Ольга легко встала, подхватила пляжное полотенце и ловко запрыгала по камням, поднимаясь вверх, к отелю.

II

Весь мир собирается вечером у стойки бесплатного бара в отеле «Las Cristianos». Бармен с неприятным, бледно-желтого цвета лицом и дежурной улыбкой, похожей на оскал, не успевает отпускать напитки. Со всех сторон на ломаном английском заказывают виски, вино, колу, пиво. Отдыхающие предупредительно доброжелательны друг с другом, их тела помнят канарское солнце и пальмовую тень. Кажется, что время остановилось. Здесь всегда многолюдно, шумно; аниматоры устраивают фокусы и развлечения, караоке и танцы; старомодно-классически кружатся под музыку пожилые пары, трясется в экспрессивной дрожи молодежь.

Воздух острова напитан удовольствием – Ольга теперь это знает. День и ночь приезд – немцы и итальянцы, французы и русские – что-то потребляют, покупают, поедают; разрушают, как полчища термитов, тысячи шведских столов, волей-неволей погружают свои тела в океан, судорожно набирают отдыха на уплаченную сумму. Но все же, гуляя по острову, Ольга научилась выделять из толпы соотечественников – что-то особенное было написано на русских лицах – непроходящая изумленность, удивление происходящим.

– Русская? – Ольга невольно вздрагивает и чуть ни проливает кофе на брюки. Рядом стоит высокий, точно сошедший с рекламной картинки, молодой мужчина. Он, конечно, тоже доброжелателен и улыбчив, как все обитатели волшебного острова. Здесь нет нищих и грабителей, все для удобства и удовольствия, все для счастливой и комфортной жизни... Ольга одна за низким журнальным столиком и незнакомец жестом просит разрешения присесть.

– Пожалуйста, – говорит Ольга. – Интересно, как вы догадались?

У него сильный акцент, он рассказывает с паузами, останавливаясь, чтобы подобрать нужные слова. «Я работаю с русскими семьями, вожу их на презентации в дорогие отели. Одна семья – сто долларов, – он хлопает себя по карманам джинсовой куртки, – здесь. Русские, русские... Что-то в глазах есть, правда? – он грозит пальцем, смеется. – Я из Хорватии, мама – красавица, славянка, – достает бумажник, где в полиэтиленовом окошке виднеется коричневое от времени фото – жених и невеста в виньетке-сердечке. – Папа – португалец, – незнакомец смеется, машет рукой, – нет папы, бежал. Зато он дал мне знаменитость-фамилию – Маркес, – он повторяет по слогам, – Мар-кес! Понимаешь? Я – Дамир Маркес. А ты?»

Ей нравится мягкое, глубокое кресло, нравится праздность, пряная испанская музыка, нравится Дамир – с профилем и сложением героя-любownika, с мужественным загаром, сквозь который на шее играют широкие мускулы; нравятся его глаза – неестественно голубые, как вода местных бассейнов. Она охотно отвечает, замечая, впрочем, что в интонациях, в голосе, во всех движениях у нее появляется что-то пластичное, зовущее, как бы расплавленное курортным солнцем. «Я похож на принца, да?» – смеется, склоняясь к ее уху Дамир, комично выговаривая слова. От него пахнет горьким одеколоном, дорогими сигаретами, южным ветром. Он, конечно, не принц, он – актер, играющий свою роль; действующее лицо «мыльных опер», бесконечных тнучек с красивыми страстями, мгновенно вспыхивающей любовью навеки и игрушечной, кукольной смертью. «Да, да, – соображает она, танцуя с Маркесом и пробиваясь смутной мыслью через подчиняющее ее телесное волнение, – все как в кино. Он – сильный и благородный, она – дикарка из России, золушка...»

– Выйдем? – шепчет ей Дамир, и она, удивляясь собственной беспечности, соглашается.

На улице особенно тихо после шумного бара, свежо. Он набрасывает ей на плечи свою джинсовую куртку, теплая ткань приятно согревает тело.

– Ты замужем? – он спрашивает серьезно, резко.

– Нет, – почему-то врет она.

Южное небо высоко стоит над океаном. Звездно, и кажется, что черные выси прибиты к куполу-невидимке золотыми гвоздями. Теплые скалы пахнут солью, грозно круглеют в ночи. Океан тихо плещется у ног.

– Послушай, – говорит Дамир, и ей кажется, что он взволнован. – Я люблю солнце! Тепло, легкую одежду, чистоту, фрукты, молодое вино. Солнце – везде. Здесь не бывает снега, дождь – редко. Здесь весело, приятно. Можно жить в купальниках. Не надо ничего стесняться. Остров – рай. Эдем. Все известно, спасительно. Надо быть счастливым и получать удовольствие, – он обнимает Ольгу умело и бережно. – Люди понравились друг другу – удовольствие... – он не смог подобрать подходящее слово, что-то пробормотал по-английски. – Женщины и мужчины созданы Богом, чтобы доставлять друг другу удовольствие, – убаюкивает он ее, – и сейчас мы будем вместе...

Но сквозь сладкую, чувственную тягу у нее в сознании вдруг всплывает навязчивая, часовая мелодия: «Динь-тинь. Динь-тинь». Ольге кажется, будто в эту самую секунду неведомая сила заводит механический остров-табакерку, где все игрушечное – не знающие грязи и поломок автомобильчики, белоснежные жилища, оплетенные плющами, синтетические человечки с хорошими фигурками и вечно улыбающимися ртами. И вот сейчас красotka-кукла Барби и ее дружок, супермен Кен, начнут совокупление на отдыхе, в романтических бамбуковых зарослях.

– Мне пора в отель, – говорит она вслух и поражается хриплости своего голоса.

III

На следующее утро она пропустила завтрак, прячась в рваный, принужденный сон. Часам к одиннадцати она все-таки приподнялась на локте, увидела в зеркальных дверях опухшее некрасивое отражение, с ненавистью швырнула в него подушку.

Вчерашний вечер представлялся ей пошлой, давно отодвинутой во времени историей, случившейся не с ней. А раз так, то и думать было не о чем.

Ольга завернулась в одеяло, удобно устроилась в кресле напротив телевизора; перебирая кнопки пульта, она сквозь ресницы смотрела на чужую жизнь. По бесконечному телепотокунеслись новости, реклама, погода; люди старательно убивали друг друга в боевиках, они же веселились в шоу, давали интервью, блестя белыми, как керамика дорогих унитазов, зубами. Каналы невозможно было сосчитать: казалось, что зритель помещен в супермаркет-лабиринт; ведущие-зазывалы на всех европейских языках предлагали цивилизованному потребителю потратить время. Доверчивая жертва, окруженная броскими цветными упаковками, не уходила из «ящика» без покупки... Дубравина работала в отделе маркетинга и знала законы движения товара.

Вдруг она услышала родную речь. Ольга вздрогнула: телевизор громко и внятно произнес матерное слово. Она жадно впиалась в экран – канал «Art» показывал русский документальный фильм о колонии малолетних преступников. Перевод был замедленным, несинхронным. Стриженный мальчик, похожий на червя, извиваясь и кривляясь, кричал ругательства в камеру.

Она всегда с брезгливостью относилась к так называемой «чернухе», к темным и жестоким мирам; избегала нищих; никогда, даже в детстве, не подбирала на улице бездомных котят. Но здесь, на Канарах, среди глянцевого, комфортной жизни, она с новой, незнакомой ей болью, с каким-то самоистязанием интересовалась, упорно всматривалась в изображение.

Фильм был намеренно груб, натуралистичен. Маленьких эзков сладострастно избивали воспитатели; старшие глумились над младшими, придумывая все новые и новые пытки; Ольгу ужасали крупные планы арестантов – бритые, узколобые головы; серые, почему-то безбровые лица с маленькими, заячьими глазками. Ей было особенно больно видеть татуировки на впалых, неразвитых грудных клетках, опущенных плечах. Дотошные журналисты жестоко, с хирургическим хладнокровием выворачивали напоказ смердящие раны колониального существования: вот конопатый мальчишка, худой, с губастым, в заедах, ртом рассказывает, как глотал иголки, травился негашеной известью, чтобы попасть в больницу; вот общая сцена в столовой, смена голодно хлебает баланду из алюминиевых гнутых чашек; вот полосатые заключенные гуськом ползут в десятый уж, наверное, раз вокруг плаца, и видно, как отставшего, с клочковатой пеной на губах, татарина, подгоняя, пихает в бок форменный сапог надзирателя... Но она разревелась не от боли, которую ей причинял фильм, не от издевательств над арестантами, не от страха за их ночное, темное существование, а от жалости к ним, когда репортер стал комментировать убогие праздники заключенных. Мальчишки, неумело кривляясь, в самодельных балетных пачках, изображали на сцене «танец маленьких лебедей». И Ольге был невыносим вид полусогнутых, тюремно-белых ног, выделяющих примитивные па.

Она плакала истово, покаянно. О чем? Она и сама не знала – мысли ее мешались. Вся жизнь представлялась сейчас безответственной, легкой и фееричной, необязательной, незадумчивой и потому пропащей. Любила ли она своего мужа? Здесь, на острове, далеко от дома, ей казалось, что да. Ольга, всхлиывая, вспомнила его молчаливую покорность, уступчивость; все, что когда-то в нем раздражало, стало на мгновение дорогим, умильным. Как он радовался, гордился, покупая Ольге какую-нибудь красивую вещь! Она плакала, обвиняя себя в неблагодарности, глупости. А Сережа, сын? Дубравина разрыдалась от мысли, что до сих пор не вспомнила о нем, хотя, уезжая, оставила его с соплями и кашлем. Сердце ее сжалось. Она тихо

поскуливала, проклиная свою беспечность, вчерашний вечер выросал теперь до размеров вселенского, некупного греха; ей чудилось, что сынишке угрожает смертельная опасность, гораздо большая, чем осложнение болезни; что-то горевое, непобедимое маячило в будущем, пугая ее расстроенное воображение. Колония для малолетних преступников, например.

Дикий материнский страх проснулся в ней. Мальчишки-зэки тоже когда-то были незлыми, шаловливыми, ласковыми малышами, как ее Сережа. Она видела себя одинокой, виноватой и беспомощной здесь, вдали от тех, кому была нужна. «Как жить? Что делать?» – твердила Ольга сквозь слезы, и оттого, что вопросы эти были чужими, усвоенными со школы формулами, и потому не выражающими глубины ее горя, она расстраивалась еще больше.

Когда она, наконец, успокоилась, умылась, густо напудрила лицо и спустилась в ресторан, глаза ее горели таким пронзительным и больным огнем, что со встречных лиц отдыхающих испуганно сходили доброжелательные улыбки.

IV

С этого времени ее жизнь на острове превратилась в доживание. Она исправно отбывала положенный срок, считая дни до даты чартерного рейса. Чувства ее как бы притупились, потеряли яркость. Ольга не ощущала вкуса экзотических блюд, не пьянела от вина, не могла определить температуру воды. Казалось, что тело превратилось в резиновую оболочку, автомобильную камеру, из которой сдут воздух.

Как-то в отеле появилась большая компания русских. Все они, судя по репликам, были служащими рекламно-туристического агентства и на острове снимали ролик о прелестях канарского отдыха. По вечерам соотечественники теснили иностранцев у стойки бесплатного бара; заводила компании – смазливый, не без шика одетый бабий угодник, пуками носил к сдвинутым столикам коктейли и водку; женщины, с жирно покрашенными, вампирскими губами, с огромными завитками кудрей, громко и пьяно выкрикивали тосты. Они походили на вырвавшихся на свободу продавщиц гастрономов. Вечерние платья, по-цирковому блестящие, придавали им комически-жалкий вид. Компания держалась сбитой, спянной стаей, вела себя развязно, нахально, шокируя привыкших к условностям иностранцев. Но Дубравина, наблюдая за варварским поведением соотечественников, почему-то испытывала не только стыд, но и затаенную радость.

Теперь она часто, завернувшись в казенное полосатое полотенце, сидела на берегу океана и покачивалась в такт волнам. Ольга злорадно думала, что стоит океану захотеть, разбудить подземную вулканическую силу, и от острова останется горстка мусора на поверхности. Да, стоит захотеть... Она шаманно покачивалась, улыбалась, будто великанские силы были у нее в руках. Вспоминалась Москва, родной квадратик двора с мусорными контейнерами у подъезда, сам подъезд, где на входной двери на уровне глаз крупно чернело короткое и выразительное слово; уборщица в линялой спецовке и отвратительных резиновых перчатках до локтя. Уборщица мела по утрам собачьи нечистоты у подъезда и встречала жильцов безадресным горьким ругательством: «Сволочи, какие сволочи!» Жильцы виновато втягивали головы в плечи, но тишком все равно гадили...

В последний вечер на острове Ольга столкнулась в баре с хорватом. Маркес вел под руку длинноногую, длинноволосую девушку, грудь ее неестественно колыбалась под матовой блузкой. Она вся струилась, переливалась, играла гибким телом, благоухая веселым, доступным, здоровым желанием. Дамир что-то ей вдохновенно объяснял; Ольгу он, похоже, не заметил, не вспомнил. Лицо его выражало полное маленькое счастье.

...Соседом по самолету у Дубравиной оказался университетский преподаватель из Волгограда. На Канарах он отдыхал с женой. Сейчас она сидела через проход – важная, чопорная, в широкой норковой шубе, в высокой, под боярыню, меховой шапке. Лицо у нее было бледно-зеленое, цвета тетрадных обложек – перелет давался тяжело. Преподаватель бегал к стюардессе, педантично менял жене пакетики, а в остальное время клеился к Ольге. Он перечислял страны и курорты, где ему довелось побывать. Ольга досадливо морщилась; все это время она с ужасом думала о том, что самолет не долетит, непременно разобьется; подглядывала в иллюминатор на бесстрастное тупое небо. Рассказчик ей мешал размышлять о близкой и неизбежной смерти. Когда он начал сравнивать пляжи Майями и Хургады, она повернулась к нему, и с ненавистью глядя в среднеинтеллектуальное лицо, украшенное очками, чеканно спросила:

– На какие средства катаемся? Взятки берем?

Когда она вышла из самолета, когда увидела пустое московское небо, голую взлетную полосу, оранжевый автобус-перевозчик с неисправной дверцей, небритого водителя в драной зимней шапке с отвернутыми ушами, то почувствовала не радость, не облегчение, не тишину, а лишь тяжелую, потливую, тропическую усталость.

Летним днем

I

Утром встанешь – росы блестят, свежо; солнце у горизонта в золоте плещется; в небе тишина, а по округе петухи последние поют, те, что свою очередь проспал. Думаешь: вот день, вот жизнь; уж я-то мир удивлю! А сорок лет прошло, и ничего нет – ни ума, ни денег, ни терпения. Так Нинка Зубова размышляла, вспоминая и утро, и жизнь свою. Ну, что капиталов не собрала – ладно; время сейчас такое, что богатства честностью не наживешь. И что красота прежняя отцвела (а Нинка внешности была выдающейся; роза и роза, но не деревенского, колхозного типа, а благородная, окультуренная; все ж таки мукомольный техникум за плечами) – годы идут, им по дури только Алка Пугачева сопротивляется. Но муж!.. И лентяй, и пьяница, и тупой, и ненавистный – Нинка вспоминала супруга и кипела. Вот уж точно: браки совершаются на небесах – ты хочешь возвыситься над природой, взорлить, а она тебя назад, назад, в беспросветные юдоли; и такую пару тебе подберет, что счастья не видать и бросить невозможно. Как жить, спрашивается, и что делать?!

Философствования эти посетили Зубову по пути из райцентра в деревню. Ехала она на попутном «Москвиче» к тетке Марии, крестной матери. Давно надо было ее проведать, да и гостинец забрать – ведро вишней, на компоты. «Своя машина в руинах, деньги выкинули, и скитайся по чужим кабинам», – муж был опять мысленно помянут и опять недобром. Попутка между тем ходко для ее возраста шла, исправно; дорога летела; по сторонам гнули шеи выгоревшие до серебра нивы – засушливый год; небо дразнило синевой – вроде бы наверху море не меряно, а уж воды-то, воды...

– А ты чья ж там будешь? – имея в виду Лазоревку, вступил с Нинкой в беседу хозяин «Москвича». Ему за шестьдесят, но здоровый, кряжистый, видно, что мужик, а не старик; нос большой, красный, в шишках; руки-хватали руль крепко держат – сила; по щекам и подбородку небрежная щетина – презрение; в глазках утопших хитрость стынет. Едет семейно: на заднем сиденье жена царствует, сухая, гордая, платочек в повязочку, губки в строчку поджаты; в общем, карга. Но Нинка к людям, сделавшим ей одолжение, доброжелательна и приветлива – она подробно рассказывает.

Мужик оживляется:

– А я Марию знаю, – он начинает путано объяснять откуда, привлекая неизвестных Зубовой родственников – троюродных, четвероюродных – Нинка согласительно кивает головой, все ж дорога за разговором веселей; мужик продолжает расспрашивать:

– У Марии вроде Жорик помер?

Жорика, да, нету, царство небесное! Во мужик был! «Нина, – подмигивал он при встрече, – пошли выпьем, хоть чокнусь с молодой!» Пил все подряд в неограниченных количествах – самогонку, «бормотуху», водку, когда, может, и одеколон – алкоголиком все же не стал. Гулял напропалую – с приезжими молодыми чувашками, смирными, как телки; с лихими цыганками – чавеллами; просто по случаю, – но держался семьи: «Я умру героически, родина наградит, ну дважды там или трижды Звезда Героя, а Марии – большая пенсия», – это он по пьянке, растрогавшись, объяснял подругам по загулу. Был Жорик высок, поджар, строен, завидной выправки («Полковник» – звали его в Лазоревке), но стать шла не от военной службы, а от породы да тюремных отсидок – то он подерется с большими телесными последствиями для противников, то магазин ночью потряхнет на предмет курева и алкоголя. Сидел и два, и четыре года; приходил заматеревшим, как волк-вожак после боев; снег-рубашка на три пуговицы от ворота расстегнута, античная грудь в голубых наколках, расписана художественно;

кудри в благородной седине; к женщинам – галантность; в глазах – издевка и романтика. Жорик – хозяин, возвращался, как он говорил, «из-за границы», сразу устраивался на работу – сторожить зерно, комбикорм. Ну, что-то, конечно, и колхозной скотине перепало, но и свои свиньи имели рекордные по стране привесы.

Много раз крестная жаловалась на мужа, собиралась разводиться, гоняла его с любовницами по приречным тальникам, сама ходила с разноцветными синяками, попадая в раздраженное состояние супруга, но все же никто не думал, что жизнь Жорика обернется такой страшной смертью. Ловил в пруду рыбу, поймал ангину. Такую, что на ноги не встать. Свезли в районную больницу, взгляделись – рак гортани. За месяц человек истаял, усох до костей, кудри вмиг белыми стали, говорить не мог, только смотрел. Глаза страдали. Вишневые очи. Жил как хотел, грешно, широко, разгульно, а умирать час пришел – взгляд иконный. Видно прощение всем будет, а мучений – никому не избежать...

– Прошлым летом дядя Жора умер, – вздыхает Нинка, – жалко его. Даже не верится, зайду – двор пустой.

– Ну, передавай тетке привет, – наказывает водитель. – Ты поняла от кого? Скажешь: от Николая, что на Плану жил. Или по-простому: от Прохоренка сына. Подожди, а ты когда назад? Часа через полтора? Так я тоже, Наташку брошу у тестя, – кивает он на бессловесную жену, – и домой. Не, под дорогу не выходи, – грубо наказывает он Нинке, – я сам к двору подскочу. Заберу уж, ладно...

II

Двор у крестной – зона бывшего хозяйственного благополучия. Жорик, насидевшись в нормированных пространствах, любил порядок. Чтобы трава на квадратной площадке перед домом была как футбольный газон, чтобы куры по просторным клетям квохтали и не пачкали территорию, чтобы яблони и прочие культуры по шнурку росли, без вольных отступлений. Увидит Жорик во дворе оставленный хозяйкой не у места предмет – щетку для побелки стен, например, хватъ его, и не успеет Мария рот открыть, вещь уже летит в космос, за ворота, на выгон, метров на пятьдесят. И все было: дом как игрушечка, мухи над навозной кучей не кружились, и огород – показательное хозяйство. А нынче – Нинка грустно заметила следы упадка – сизая лебеда по углам двор глушит, а скосить – некому.

– Да они гости! – ахает на появление крестницы тетка, – а я слышу, кто-то в сенцы лезет, думаю, небось Симкина собака отвязалась!

И Симка тут, соседка, давно одинокая бабенка, легкая на ногу, певунья, характера, правда, сварливого; а муж умер от пьянки годов десять назад. Сидят в зале, густо устланном домоткаными половиками; по стенам малые и большие портреты с родней, полутьма от прикрытых ставень, холодок.

– Воскресенье, так мы собрались побрехать, – объясняет крестная обстановку, – чи ее, эту работу, всю переделаешь!

Нинка подстраивается, включается в разговор. Ну, слово за слово, про городских родственников, про то, что корова отелилась (а переходила сильно!), что урожай вишней – «было бы не так жарко, лезь на дерево, да рви еще»; в конце концов гостя вспоминает о Прохоренке и его привет.

– Да ты че! – изумляется крестная. – Прямо при жене и сказал? Мол, «привет Марии»? Девки! Он ведь мой жених! Был. Симк, ты помнишь его? В 56-м году гуляли вместе, он свататься собирался. Давно я его, – Мария задумывается, – не помню уж сколько лет не видала; к тестю редко ездит, не заладили. Там он страшный небось? – с радостной утвердительностью спрашивает она у гостыи.

Нинка смеется:

– Скоро увидите! – и объясняет, что Прохоренок заедет за ней на обратном пути.

Тетка Мария ошолбенело думает над новостью секунд двадцать, не боле:

– Бабы? А че мы дремлем?! Нынче воскресенье, праздник, крестница в гостях, давайте сядем! Симка, зови Шураню, бутылка у меня есть, закуски наберем!

Симку уговаривать не надо, подхватила, только тапки замелькали. И смех, и грех: Зубова свою крестную в таком возвышающем возбуждении раз или два в жизни видела – когда та рассказывала, как за Жориковой чувашкой на велосипеде гонялась, да на вручении ей премии в районе за передовую прополку свеклы. Мария, женщина хоть и в годах, на пенсии, но в возрасте своем красавица, росту выше среднего, грудь, плечи, все округло, опрятно, голова с тяжелыми волосами прибрана как у артистки, черты лица определенные – много пережила; глаза вечно волоокие; а сегодня взгляд скачет, блестящий, молодой, и сама она по хате летает – не остановишь. «Вот черти старые, – с уважением думает Нинка, – они и в семьдесят лет беситься будут». Тетка тем временем из шифоньера новую скатерть, старую долой, на стол из холодильника, из погреба продукт – холодец, сало, котлеты, перцы в поллитровых банках с прошлого года, закуски, яичницу бегом жарить с луком; огурцы малосольные из ведра обливного; сметана, творог само собой; хлеб домашней выпечки щедрыми ломтями пластает; и чеснок молодой, матовые зубки, чтобы самогоновый запах отбивать. Поллитра из погреба – в паутине, бутылку Нинка протерла влажной тряпкой, она аж засветилась вся! Тут бабы прибежали – тоже не с пустыми руками – Шураня с четверкой «Русской», Симка с котелкой покупной кол-

басы; стол весь заставили чашками, тарелками, судками, от одного вида изобилия можно опьянеть, на свадьбах такого не увидишь: «ну, крестная», – удивляется Нинка.

Сели. Тетка, правда, опять спохватилась, мол, подождите минутку – и в комнаты. Вышла принаряженная – юбка на ней черная плиссированная («дочь подарила, она ее одевала, может, раза три-четыре») и кофта белая, вся бисером расшитая. Ну и ну! Точно, будет и на нашей улице праздник. Выпили по первой, закусили и как-то сплотились, зароднели, разговоры пошли; потом еще добавили. Недоверчивая Шураня, губошлепая баба-телеграф, все новости от нее по Лазоревке расходятся, спрашивает:

– Че гуляем-то?

– А, – машет чуть захмелевшая тетка Мария, – я вдова и живу на полную катушку!

Много ли бабам надо? Языки развязались, пошла разногласица: кто про внуков, кто про пенсии, кто про болезни и врачей. Про последнее особенно – каждая перенесла по хирургической операции, кому зуб вырезали, кому желчный пузырь, кому по-женски, в общем, есть что вспомнить. Пир горой, Нинка уже и забыла про хозяина «Москвича». А он тут как тут:

– Можно к вам?

Стоит в дверях, фуражку мнет. У мужиков спеси много, и силы, и дурости, но против компании подгулявших баб один в поле не воин. Смутился жених. А Мария от стола медово:

– Коля, проходи, присаживайся. Может, выпьешь чуть? За рулем вроде много нельзя.

Прохоренок камнеет на табуретке, бугаино кривит толстую бурую шею, не шею даже, холку. Беседа идет с шутками, прибаутками, и гость, чувствуя ложность своего положения, вступает мало и невпопад. Будто он лишний здесь, в бабьем царстве; пущен из милости, и его сочувствие, интерес или забота и не нужны вовсе. Неловкость длится – Нинка чувствует, а крестная вроде ничего и не замечает: хвастает, как зять здорово помогает («и трубы под газ достал, и котел из города привез»), и какая картошка в этом году будет хорошая – цветет страсть; и что гектар свеклы за сахар прополола; в общем, полный триумф! А с портрета, с карточки увеличенной, Жорик улыбается молодой – чуб кудрявый, кольцами; глаза черные, веселые; воротничок рубашки чайкой летит; что было, то было – жизнь не пережить, поле – не переплыть...

– Ехать надо, – говорит Нинка, вынырнув на мгновение из голубого, качающего тумана.

III

– Мария, а че он к тебе приходил? – заговорщицки пододвигается к подруге Шураня. Нижняя губа от любопытства у нее немного отвисает, вроде как у Симкиной собаки перед куском мяса.

– Свататься! – прыскает смешливая Симка, приправляя холодец хреном, – опоздал на сорок лет, старый хрыч.

– Зашел и зашел, – встряхивает головой хозяйка. И подмигивает разгульно, берясь за бутылку:

– Допьем, девки, горькую. До дна допьем!

...Нинка с Прохоренком молча ехали, быстро. Зубова смотрела в злящийся затылок, терла виски – самогон забористый, первач. Она трезвела трудно, мысли – длинные и короткие – мешались; она пыталась уместить их в голове, сложить во что-то вроде поленницы, но всякий раз построение падало, и Нинка барахталась в хаосе. Есть жизнь... Есть судьба... И вишни, сочные, в эмалированном ведре – надо бы его обвязать, чтобы не рассыпались... И просторы есть, неохватные, текущие теплым воздухом за горизонт, и кто ты перед ними?! Букашка трудолюбивая, зерно из колоса или камешек на обочине? Все есть, все пройдет – Нинка почти плакала. Дети вырастут, не оглянутся; муж сопьется и присмирееет; тело занеможит и запросит смерти; буду бабушкой ходить с палочкой... «Москвич» мчался на закат. Алое марево стояло в небе зарей, розовые нивы волнились по обе стороны асфальта; солнце, ничуть не утомленное очередным летним днем, светило пронзительно. И вся небесная, независимая от жизни и поступков людей, красота показалась Зубовой такой мудрой и высокой, что она не могла уже ни думать, ни страдать, ни мучиться, а лишь спокойно и устало смотрела на бегущую к далекой черте дорогу...

Дерево

Дерево, как и человек, не помнит своего рождения.

Была весна, летели птицы, шли облака, стояли снега, пахло землей.

– Знаешь, – говорил мне дядя Федор Иванович, – приезжаю сюда раз в год, на Пасху. Ну, могилки оправить, все, как положено. И ведь не из-за могилки, сукин сын, еду /дядя уже порядочно выпил и рассказывал всхлипывая/. Весной дурею совсем – тянет понюхать землю, чернозем наш. Запах зовет страшно, голова кружится. Маша /жена/ пихает пилюли, говорит, что авитаминоз. Фармацефтка! Слушай, какой к ... /дядя интимно, доверительно, словно к другу, склоняется ко мне и вставляет в рассказ крепкое словцо/ авитаминоз?! Я же мальчишкой бегал, помню грязь теплую, борозду, земля – жир; семена – ячмень там, пшеница ... Нет, ты понимаешь? – дядя крепко вцепляется мне в плечо и продолжает со слезой в голосе, вкусно дыша водкой, – сынов у меня нету, дом продал на бревна, живу с Машей ... Имею ли я право раз в год приехать, походить по своей земле, а? – агрессивно возбуждается Федор Иванович. Беседа наша становится все более путаной, дядя пьет уже не закусывая, и в конце концов забывается прямо за столом буйным, со всхрапами и злым бормотаньем, сном.

Да, была весна ... Я представляю: проклюнулся росток, огляделся, увидел – летят птицы, идут облака, стоит солнце. В детстве как-то мало думаешь о земле, о ее холмах, долинах, извивах, горизонтах. Тянет к небу, к растекающимся, непрорисованным весенним краскам. Бывают туманные тучи – самые загадочные, когда небесная жизнь кажется мнимо доступной – за серыми густыми кудрями вот-вот откроется лицо иного мира. Но нет, назавтра лишь грустная синь, перистая холодность да земные, низко парящие птицы. А у чернозема – цвет вороного крыла, и к осени пашни, точно набравшее силу перо, начинает отливать синевой.

И вот дерево, деревце, родилось, росло год за годом, трепыхалось под ветром, не думая, сосало корнями земную силу, купало редкие, кокетливо-липкие по весне листья под дрожками, бодрящими дождями. Что-то и я, конечно, начинала чувствовать, пусть и не так пронзительно, как дядя Федор Иванович. Молодая трава-мурава выходила из черной, блестящей, обильно напитанной влагой земли совершенно зеленой, и этот радостный, живой цвет разительно не соответствовал моим детским представлениям. Я грустно жевала молодую мураву, пытаясь разгадать тайну через вкус, обиженно сплевывала горечь. Пахло коровой, раскиданным по огороду навозом, яблоневого корой, силосом из ржавого корыта, теплым камнем колодца-журавля, и тонко, как я сказала бы сейчас, благородно, пахло весенней землей. Свежесть – вечный запах жизни, и человеческое стремление к чистоте – вечная честность. Если отбросить родственные пристрастия, дядя Федор Иванович совсем не честных правил, и в каждый свой приезд напивается у меня до безобразия, но краска на родительских крестах у него свежая, ликующая. /Дядя обычно выбирает светло-голубые цвета./ Летят, летят в небо кресты, и клонятся над ними мудрые кладбищенские деревья.

А мое дерево тем временем сильнело, развивало выровнявшийся ствол, густило новыми ветками крону, и бывало, что качались в листве галки; растрепанные, будто из драк, вороны. Почему-то вспомнилось мне сейчас прошлое, маленький, пыльный городишко. Оттого, что городишко был крохотный, что почти весь он был застроен частным сектором, что все улицы в нем были неглавные и тихие, и редко по ним проезжали машины, трактора, колхозные телеги, от всего этого становилось еще пыльной. Неизменно свежими казались только поставленные в окошках между рамами искусственные цветки, да миниатюрные палисаднички у домов, где хозяйки настойчиво пытались взрастить красоту.

И вот в конце одной из неглавных улиц стоял широкий двухэтажный дом с плоской крышей. Издалека он сильно напоминал увеличенную до невозможных размеров коробку из-под

сапог. Стены здания были серые, цвета упаковочной бумаги. В доме размещался интернат. Здесь я доучивалась два последних школьных года.

Стояла июньская жара, шли выпускные экзамены, и мы со Славой Левченко сидели в спальном отделении на подоконнике второго этажа / за что всегда ругались воспитатели/. Окно, широкое, с тусклым от времени стеклом, со слоющейся краской на рамах, было распахнуто. Дерево, что росло у самой стены интерната, в тот год уже лезло в окно ветками, и директор наш, вечно испуганный глобальными хозяйственно-духовными проблемами, ничуть и не пытался ограничить его свободу. Помню дробящееся в кроне на тысячу бликов, ликующее солнце, блеск здоровой листвы, упругой, сильной; решетчатую, ажурную тень.

– Хорошее дерево, да? – говорил Слава, чуть притягивая к себе гибкую ветку.

Я радостно кивала, соглашалась, и во всю ширину глаз принимала его совершенно особенное, единственное в мире лицо; его глаза, ясные, не замутненные еще ни жестокостью жизни, ни предательством, ни болезнями; его руки, такие сдержанные и бережные даже к случайной июньской ветке.

Пусть, пусть проходит юношеская любовь, первая, наивная, восторженная, глупая, беспопелуйная, всегда обреченная на гибель, любовь деревенского мальчика в красной байковой рубашке и бедной девочки в тренировочных, аккуратно заштопанных, брючках. Нет, не о том я дереве тоскую и не ему завидую.

Жизнь моя сложилась вполне благополучно. Живу в селе, все мне здесь знакомо; ночью видны звезды, а днем облака. Быт налажен, домик небольшой, но еще по застоному времени завешен коврами, обустроен. Работа чистая, в библиотеке, а что деньги не платят, обидно, конечно, но не всегда же так будет. До обеда усаживаю в читальном зале пенсионеров, что приходят полистать газеты и каждый раз ввязываются в политически распри друг с другом; после обеда вожусь с редкими школьниками, перетолковывая им книжки по внеклассному чтению. Вечером... Раньше я мечтала о возлюбленном, о необыкновенном, идеальном мужчине. Представляла его непьющим, некурящим, состоятельным, красивым, энциклопедического ума, обладателем изысканных, рыцарских манер. А друг мой теперешний оказался совсем непохожим на вечерние грезы: он любит выпить – в хорошей компании и просто для настроения; может выкурить с расстройства сразу полпачки; ухаживает неумело и с явным изумлением, что ему приходится это делать; и вообще, как сразу выяснилось, человек он не свободный, женатый. Но я люблю его, и мне все в нем нравится: и абсолютное несовпадение с моими вечерними фантазиями; и его жизнь по самостоятельной, ни от кого не зависящей воле; а главное, нравится то, что почти уже не попадает в людях – высокий душевный строй.

Встречаться нам тяжело: мало того, что мы живем порознь, так еще и далеко друг от друга. Если выбирается он ко мне, то я тащу из погреба квашеную капусту, огурцы соленые, варю картошку со свининой, завариваю с липой чай. Потом люблю смотреть как он ест, люблю слушать о том, что должна быть в повседневности простая основа – два-три основных вкуса, а когда их начинают мельчить, смешивать, путать, ничего толкового не выйдет. Мне хорошо с ним днем, и ночью – не страшно.

Но вот я приезжаю к нему в город, мы идем, нацеловавшись до одури в липовой аллее, нам бесприютно – негде побыть вдвоем, и свободно – город большой и никому до нас нет дела. Мой друг может рассуждать на любые темы и во всем он доходит до непостижимых, совершенно мной несознаваемых вещей. А тут вдруг говорит просто:

– Знаешь, я однажды, лет пять или семь назад, провел такой эксперимент: поехал в поле, выбрал там березку, самую что ни на есть кривенькую, самую слабенькую, и посадил ее у себя под окном на даче. Стал за ней наблюдать, ухаживать. И ты представляешь, – живо поворачивается он ко мне, – теперь она совсем выровнялась! Такое деревце стало, – и мой друг пускается дальше уже в абстрактные рассуждения, и я слушаю его вполуха, почти ничего не понимая, а самой горько-горько, и я чувствую как тихо, беззвучно стекают по щекам слезы.

А он очень чуткий, мой друг. Рассказывает, руками машет, увлекся, случайно глянул мне в лицо, мгновенно изумился: «Ты чего?» и тотчас, в ту же секунду все понял.

– Дура! – говорит он мне совсем невозвышенно, и мягко целует мои слезы, ласково.

– Ага, – радостно хлюпая, соглашаюсь я.

– Ну, будет-то жемчугами сыпать! – приказывает он мне и завершающе целует между бровей. – Все!

– Все..., – согласно шмыгаю я.

И мы мирно шагаем дальше, кажется, даже в ногу, и говорим про его город и про мою деревню, про его работу и про моих пенсионеров, про нынешнюю осень, непохожую ни на какую другую – листья опали враз, зелеными, и странно видеть под ногами столько богатого, живого цвета. Мы любим друг друга и мысленно, конечно, говорим совсем, совсем о другом. О том, что взрослые деревья не пересаживают – даже в самую благодарную и наскучавшуюся землю; что надо жить, счастливиться и радоваться тому большому, что у нас есть; что еще долго – до самого неизвестного и потому нестрашного конца – встречать нам год за годом весну, лето, осень и зиму; и что все в этом мире придумано и сказано до нас...

Параня-богатырша

Параня – баба внезапная. Зимой она к тебе и в 9 вечера в гости заявится, когда уж добрые люди спать ложатся. Снег, метель – это ей нипочем. Или грязь, холод, распутица – нынче какие они зимы? – тоже не препятствие. Садится на велосипед и – вперед. Заявится, сразу лезет в залы (нет, чтоб в прихожей посидеть!), в калошах или в сапогах, в плюшке или в фуфайке – всё на ней грязное, как правило, и лезет в святые, под иконы, если не остановишь. «Ну, че тут, еда какая у тебя, чи выпивка? Угощай!» А летом для Парани вообще закона нету – может и на крыльце переночевать или в сеннике, если в дом не пустишь. Две их было подруги неразлучных – Лида Мостикова да Параня Чулкова. Теперь подруга дом продала, к дочери двинулась в соседний район (вот её ждут-дожидают там!), а Параня тоскует:

– Нету Лиды! Мы с ней, бывало, где только не ночевали! И на вокзале, и возле больницы, и на переезде железнодорожном сколько раз... Летом, – жмурится Параня, – мне ничего не страшно. И пью, и пою. Я, глядеть, – хвалится она слушателям в очередном доме, где дает «гастроль», – в хате у себя не сижу, меня смерть не поймает.

Таких людей, как Параня, теперь нету и уже, конечно, никогда не будет. Маленькая, быстрая, крикливая, с высоким сильным голосом – запросто пять баб перекричит; здорово она выпивала всю жизнь самогонку (и другое, магазинное), но так и не спилась назло недоброжелателям и скептикам; страшно работающая и без стеснения ворующая у государства – а чё ещё делать – мать-героиня! У Парани семеро детей, и неплохих детей, между прочим, – все с образованием по способностям, уже семейные, со своими понятиями, хоть и без Параниных талантов.

А таланты такие: позвали уже пенсионерку Параню на ферму доить коров – кадровый кризис припер. Параня с группы себе забирала 40 литров (потом продавала по дворам), а государству сдавала бидон. Никому, мол, и не обидно! Или: привезли ночью на ферму машину бурака. Утром глянули – и следа нету, всё Параня к себе во двор перетянула. А один раз средь бела дня она тачку зеленки везла. Милиционер встретился:

– Куды с фермы тянешь?

А Параня не теряет:

– На, забирай!

Тачку перевернула и пошла как ни в чем не бывало, гордо. Милиционер почесал, почесал затылок и тоже пошел. Потому как здоровье дороже. Параня, когда сына женила, известным случаем прославилась. Свадьба в разгаре, а она волокет на себе вяхирь с зелёнкой – скотину-то надо кормить, она ж ревёт; скотина она же не понимает – свадьба или еще что, ей подавай положенное; Парани из-под вяхири почти и не видно – в три погибели согнулась и тянет. А гость с невестинной стороны возмутился:

– Что же мы, мужики, стоим, а женщина надрывается?!

Параня на эти речи и говорит ему:

– На, сваток, возьми!

Мужчина (а крепкий он, в теле), схватил вяхирь, стал поднимать и упал. Его потом ветками родня обмахивала – человеку плохо стало, с сердцем, что ли. А Параня этих вяхирей по 12 штук за день вытягивает. Нету, в общем, таких людей уже...

А почему нету? У Парани на это такая теория: курица, что в инкубаторе выросла, он неё и лапша дохлятиной воняет, и яйцо невесть какое. Курица должна по воле, по траве бегать, и чтоб петух её, золотошпорый, топтал. Тогда толк будет. А люди нынче по городам засели, потому и немощные, бледные, как инкубаторский продукт. А деревни, или хутор Грушевый, откуда родом Параня, в упадке. «Кто уехал, кто сдох. А прибавки нету. Заросло всё бурьяном». И ни людей, ни силы. А прошлую жизнь, советскую, Параня так вспоминает:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.